

Москва
2015

УДК
ББК
М

Маркова О.Г.
Волчьи норы. Мемуары/ – Марков Георгий – М.:
2015. – 284 с., 15 илл.

ISBN

В книгу «Волчьи норы» вошли два последних произведения известного советского писателя Георгия Маркова (1911 – 1991 гг.), а также избранная переписка с женой (1939 – 1946 гг.), воспоминания тех, кто знал Г. Маркова, и фотографии из домашнего архива.

Мемуары «Не поросло быльем» примечательны уже тем, что открывают неожиданные и весьма любопытные страницы жизни будущего главы советских писателей, расставляющие иные акценты не только в его биографии, но и всех тех, кто в 1930-е шел «навстречу заре новой жизни». Тональность повествования создает у читателя эффект присутствия и заставляет более объективно оценить и искренний идеализм, и ошибки, и трагедию целого поколения.

Герои повести «Старый тракт» - сибирские купцы и народники, старообрядцы и разбойники - становятся участниками увлекательного сюжета, разворачивающегося во второй половине XIX века в Томске и на Старом сибирском тракте.

УДК
ББК
М

ISBN

© Маркова О.Г., 2015

Георгий Марков

ВОЛЧЬИ НОРЫ

Люди из провинции

Идею этой книги подсказала Галина Николаевна Богомолова, преподаватель истории школы села Ново-Кусково, Томской области, где родился Георгий Марков. Она и спросила нас, отчего нет книги, куда вошли бы воспоминания о Маркове его друзей и близких, фотографии из семейного альбома, письма. Подтекст вопроса был очевиден. Мол, давно пора смахнуть с нашего земляка официальный глянец партийного функционера и литературного начальника, и показать его, каким он был не на трибуне, а в дружеском кругу, о чем думал, чему радовался, над чем смеялся. «Вот это нам неизвестно, а интересно было бы очень», — сказала она...

Не будем лукавить, мы, конечно, учитывали сегодняшнюю конъюнктуру рынка и возрастающий читательский интерес к творчеству Маркова и других писателей советского прошлого, о которых, казалось бы, уже забыли навсегда. Но все-таки, изначально эта книга создавалась для людей из «провинции», которые помнят своих земляков без всякой конъюнктуры. Просто помнят.

Не поросло быльем



В начале 1932 года я получил назначение в отдел пропаганды и агитации Западно-Сибирского крайкома комсомола — заведующим сектором теоретической учебы. На заседании бюро, утверждая меня в должности, Саша Голиков, первый секретарь крайкома, произнес напутственную речь:

— Ну, вот, Георгий, утверждаем тебя на новом посту. Прежде такого сектора у нас в крайкоме не было. Знаем, что ты парень жадный к знаниям, и потому надеемся, что сумеешь работать инициативно, напористо, с настоящим комсомольским задором.

— Буду стараться,— буркнул я, привстав перед длинным столом, за которым сидели мои старшие товарищи и будущие соратники по работе.

И я действительно старался. Не откладывая, съездил в Кузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Томск, где выступил с докладами, а из наиболее подготовленных комсомольцев организовал пропагандистские группы. Темой моих докладов были состояние и задачи международного коммунистического юношеского движения. Выбор этой темы не был случайным. Опасность войны была очевидна: фашизм в Италии и Германии, заметное обострение социальных конфликтов в Европе, Азии, Америке. А по вопросам юношеского движения, и не только, кстати, современного, я был «подкован» неплохо, занимаясь изучением этих проблем уже несколько лет.

Однажды я выступил с докладом на эту тему перед слушателями комсомольского отделения Комвуза имени Дзержинского в Новосибирске. На лекции присутствовал ректор — профессор Базилевич и еще несколько преподавателей. Моя лекция им понравилась, и мне предложили прочесть уже цикл лекций по истории юношеского движения. И я охотно согласился.

Сохранилась фотография: в медальонных рамках — лица слушателей комсомольского отделения Комвуза, а в квадратных — ректора и преподавателей, среди них и я.

Я и не подозревал о существовании ее. Но в дни моего шестидесятилетия мне подарил ее Н. Митрофанов, один из моих товарищей тех лет по комсомолу.

В крайкоме я проработал недолго. На одном из заседаний бюро райкома обсуждалось состояние Новосибирской организации комсомола. Город, который в ту пору стремительно развивался и превращался в крупнейший промышленный центр, заметно отставал по уровню работы с молодежью. Горком работал вяло, безынициативно. И бюро крайкома приняло решение всерьез заняться этой проблемой. Сюда был направлен один из самых опытных работников сибирского комсомола, член бюро крайкома и заведующий отделом Владимир Шунько. Вместе с ним пришло еще несколько товарищей. В их числе был и я.

Через несколько дней состоялся Пленум Новосибирского горкома комсомола, и Шунько был избран его главой, а я — заведующим отделом пропаганды и агитации. Значительно обновился состав и работников райкомов (их тогда в Новосибирске было два — Дзержинский и Октябрьский), и комитетов комсомола на крупных стройках и предприятиях.

Володя Шунько был человек образованный (студент химического факультета Томского политехнического института) и весьма энергичный. И повел он дело по-новому. Все работники горкома много времени проводили в «низовке» — на стройках и предприятиях, в школах, в клубах Осоавиахима.

Все мы занимались в кружках военно-физической подготовки, осваивали комплексы ГТО и «Ворошиловский стрелок», приемы первой медицинской помощи, строили парашютные вышки и прыгали с них, создавали футбольные и баскетбольные команды, ходили в дальние походы с боевой выкладкой, соревновались в плавании. Спортивного инвентаря катастрофически не хватало, но инициатива была, что называется, ключом — многое делали сами, устраивали молодежные воскресники и, заработав деньги, нанимали слесарей и столяров, плотников и каменщиков. В горо-

дах, поселках и даже деревнях появлялись стадионы, тир, спортплощадки, бассейны, парашютные вышки. Молодежь поголовно была увлечена военно-физической подготовкой.

И сам Володя Шунько занимался в авиаклубе, осваивая профессию пилота. Большая группа актива была свидетелем его первого самостоятельного полета на аэродром под Новосибирском, и его первого прыжка с парашютом. Мы восхищались им. И старались подражать секретарю горкома. Думаю, эта массовая военно-физкультурная работа сыграла свою положительную роль в годы Великой Отечественной войны. Комсомольцы, вступая в ряды Красной армии, приходили уже хорошо подготовленными к боевой службе.

Но у горкома была еще одна забота — политическое просвещение молодежи. И тут мы должны были также показывать личный пример.

В это время был издан шеститомник избранных сочинений В.И. Ленина. И ЦК ВЛКСМ разослал указание на места — создать кружки по изучению этих ленинских работ.

На первом организационном заседании старостой школы по изучению работ Ленина ребята избрали меня. Это вовсе не означало, что я превосходил всех остальных в их знании, но избрание старостой возлагало на меня дополнительные обязанности. Надо было позаботиться об организации плановых занятий, обеспечении слушателей литературой, посещении публичных лекций в городской лектории.

Приоритет был отдан индивидуальному методу изучения: каждый прочитывал то или иное сочинение самостоятельно, конспектировал его, а потом мы коллективно обсуждали его. Никто не должен был уклоняться от выступлений. Существовало правило — каждый мог задавать вопросы любому из товарищей. Такой метод всем пришелся по душе. Порой мы задерживались в кабинете секретаря горкома по три-четыре часа кряду.

Все шло нормально, кружок наш с каждым занятием становился крепче, организованнее. Одновременно

с этой работой было решено провести теоретический пленум горкома. Почему теоретический? Потому что на повестку выносился вопрос не практического характера, а именно теоретический: «Мировой экономический кризис и проблемы классовой борьбы». Почему была избрана эта тема, а не другая — сказать затрудняюсь, скорее всего, потому, что вопросы международного положения в ту пору привлекали внимание молодежи, так как нарастала военная опасность, о которой говорили с большой тревогой.

Наш теоретический пленум прошел успешно. С докладом выступил один из известных преподавателей Комвуза. В прениях приняли участие более десяти активистов, которые специально готовились к этому. И я не остался вне списков ораторов. Я говорил о положении рабочей молодежи за рубежом, о формах ее эксплуатации, о созревании в массах молодежи классового самосознания, о ее солидарности с пролетариатом. Новый теоретический пленум, который мы замыслили через полгода, решили посвятить теме развития философии в нашей стране.

Теперь-то мне ясно, что мы немного отрывались от реальности. Но, правда и то, что продвижение молодежи в науку, провозглашенное комсомолом одним из главных направлений, вдвинуло из среды комсомольских работников страстных пропагандистов книги, поборников чтения, знаний.

Но этот пленум проходил уже без меня. А со мной произошло вот что.

— Георгий, завтра в десять утра тебе необходимо быть у Роберта Индриковича Эйхе, — сказал Саша Голиков, первый секретарь крайкома комсомола.

— К самому Эйхе? — изумился я — А что случилось?

— Будет серьезный разговор. А о чем, узнаешь завтра. Но о предстоящей встрече никому не говори, — посоветовал Голиков.

На другой день, задолго до десяти, я был уже в крайкоме партии. В кабинет Эйхе посетители входили не напрямую из коридора, а через комнату управделами крайкома партии Озолина, который был одновременно помощником Эйхе.

Ян Янович Озолин, как и сам Эйхе, латыш, был его давним соратником по подпольной работе в Риге, и вступил в партию, насколько я помню, в 1907 году.

Внешность Озолина была весьма колоритной и запоминающейся. Плотный и широкоплечий, с большой и совершенно голой головой, с пышными усами и постоянно прищуренным, будто оценивающим взглядом, он производил впечатление недоступного и очень строгого человека. Но стоило ему заговорить, слегка шепелявя и смягчая русские слова, как впечатление это исчезало, и Ян Янович становился простым и каким-то даже домашним.

— Ты Маркофф? Проходи, Маркофф, проходи. Садись. Роперт с командующим фоенным округом разговаривает. Потопши... Фот-фот уйдет, — присматриваясь ко мне, сказал Ян Янович.

Я присел на стул, стоявший в углу, вблизи от входной двери. Волнение мое становилось нестерпимым. Ян Янович, видимо, заметил это и доверительно сказал:

— Скоро пойдешь, Маркофф. Роперт не любит, чтоб ему сказки рассказывали. Фоенный сейчас выйдет.

И вот через дверь кабинета открылась, и вышел не один, а двое военных. И первого, и второго я знал. Первый был командующий войсками Сибирского военного округа Левандовский, а второй — начальник политуправления округа Кузьмин.

Не задерживаясь возле стола Озолина, они кивнули ему, и вышли, не проронив ни слова.

— Теперь иди, Маркофф, — сказал Ян Янович и указал мне на дверь кабинета Эйхе.

Я открыл дверь и вошел в комнату с широкими окнами, выходящими на главный проспект города, названный Красным.

Посредине комнаты стоял продолговатый стол, покрытый зеленым сукном. К нему были придвинуты стулья. Вероятно, здесь и проходили заседания. Впритык к длинному столу стоял еще один стол — письменный, где стояли телефоны, лежали папки с бумагами, а в центре отливала черным стеклом и медью чернильница. Возле нее — высокий металлический стакан, похожий на гильзу снаряда, с цветными гранеными карандашами.

Мне еще запомнились шкаф с томами сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, энциклопедией Брокгауза и Эфрона, и этажерка, на которой лежал огромный кусок каменного угля. На стене с одной стороны портрет Маркса, с другой — Ленина. Позади кресла, в котором сидел Эйхе, в полстены — карта Западно-Сибирского края.

Внешне Эйхе походил на Дзержинского. Правда, я не видел никогда Дзержинского, но так мне казалось. Худощавое узкое лицо, строгое, волевое и, пожалуй, даже иконописное, острая бородка, внимательные глаза. И костюм напоминал костюм Дзержинского: сапоги, брюки-галифе, гимнастерка, перетянутая широким ремнем с медной пряжкой. Роста он был высокого и выглядел скорее тощим, чем стройным.

Эйхе встал из-за стола и вышел навстречу мне. Он был крайне внимателен и учтив. Так мне тогда показалось. Позднее, много раз встречаясь с ним, я убедился, что эти черты были присущи ему всегда.

Отмечу еще одну деталь: потом уже я нередко встречал Эйхе на улице. Он руководил кружком текущей политики на заводе «Труд» и ходил на занятия по насыпи вдоль железной дороги. Я жил неподалеку у моего долголетнего товарища по работе Николая Сенько. Завидев меня одного или вместе с товарищем, Эйхе не ждал, когда его попри-

ветствуют, и чаще всего первым снимал папаху офицерского образца или кепку, чуть склонял голову, говорил только одно слово: «Здорово!», и быстрым шагом проходил мимо...

Но вернусь в кабинет Эйхе.

— Здравствуй, товарищ Марков. Садись вот здесь, — сказал Эйхе очень просто, пожал мне руку и вернулся в свое кресло, обитое коричневой кожей.

Вполне допускаю, что, участвуя в наших комсомольских пленумах, совещаниях и встречах, Эйхе, отличавшийся редкостной памятью, мог как-то и запомнить меня среди комсомольского актива. Во всяком случае раза два-три мне пришлось в его присутствии выступать по разным поводам.

— Голиков рассказал тебе, зачем я тебя позвал? — спросил Эйхе, серьезно вглядываясь в меня.

— Нет, Роберт Индрикович. Он сказал, что вы сами обо всем скажете.

— Экая у вас конспирация, — с чуть заметной усмешкой воскликнул Эйхе. — А вопрос вот какой: ты уже знаешь, наверное, что скоро состоится пленум крайкома комсомола. И на этом пленуме стоило бы утвердить нового редактора «Большевистской смены». У нас впечатление такое, что у Н. дела плохо ладятся. Человек он, видимо, нервный, говорят, даже страдает приступами истерии. Ребятам работать с ним трудно. Так вот: у нас в крайкоме партии сложилось мнение, что редактором газеты можно было бы утвердить на предстоящем Пленуме товарища Маркова. — Он сказал именно так: «Товарища Маркова», в третьем лице.

Кровь прихлынула к моим щекам, зазвенело в ушах. Вот уж чего я не ожидал никак, ни под каким видом.

— Роберт Индрикович! Я совсем еще молод! — чуть не со стоном вырвалось у меня.

— Знаю. Но разве молодость порок?

— Двадцать первый год мне, знаний еще маловато.

— Это все наживное. За этим дело не станет. А опыт у тебя уже имеется. В Томске «Юнгштурмовку» редактировал, в Новосибирске редактором журнала был,— заглядывая, по-видимому, в мою характеристику, спокойно проговорил Эйхе.— И брошюру написал: «Комсомольские резервы — большому Кузбассу».

— А все-таки кого-нибудь постарше бы на такое дело,— сказал я робко.

— Думали мы и об этом. Называли нам двух редакторов городских партийных газет из Прокопьевска и Ленинск-Кузнецкого. Но сам посуди: одному тридцать восемь, а другому сорок один. У них молодость в прошлом, им непросто понять запросы современной молодежи. Как ты думаешь, так или не так? — Эйхе старался включить меня в свои размышления.

— Это верно,— согласился я с этими доводами.

— И еще: какие у них перспективы в комсомоле? Год, от силы два и надо уходить.

Я молча кивнул. И этот довод был убедительным.

— Ну, и наконец,— оба сопротивляются, не хотят получить в комсомоле кличку «дедушек». С желанием товарищей тоже надо считаться. Можно, конечно, заставить в порядке партдисциплины, но стоит ли? Работа из-под палки к добру не приведет. Думали-рядили и остановились на молодом товарище Маркове. У него все впереди.— Эйхе посмотрел на меня и улыбнулся ободряюще.

— Так справлюсь ли, Роберт Индрикович? Боюсь! — я не скрывал своего смутения. Ежедневная газета краевого масштаба, с большим редакционным коллективом и внушительным тиражом, казалась мне шапкой не по моей голове. Я так и сказал. Но и это не поколебало Эйхе.

— Это хорошо, что сомневаешься. Значит, чувствуешь ответственность. Хуже было бы, если бы страдал заносчивостью: всё могу, мол, все нипочем! Если б так было, я пер-

вый возразил бы. Ну, а журнал «Большевик» читаешь? — вдруг перешел на другую тему Эйхе.

— Конечно! Каждый номер,— ответил я.

— А какие статьи в последних номерах привлекли внимание? — слегка прищутив глаз, спросил Эйхе. Но тут я оказался на высоте, проявил завидную резвость. Я действительно был давним и внимательным читателем журнала «Большевик», читал его с карандашом в руках, конспектировал, а самое главное, на заседаниях бюро горкома, по инициативе нашего секретаря Володи Шунько, мы ввели «теоретический час», и мне приходилось систематически выступать и делать обзоры партийной и комсомольской прессы.

С первых минут Эйхе понял, что я не просто читаю журнал, а многие статьи в нем обстоятельно изучаю.

— Это хорошо, это поможет тебе в работе. А еще что читаешь?

Я рассказал ему, что поставил цель экстерном окончить университет и потому все свободное время трачу на работу с книгами, хожу на консультации в Комвуз, а иногда езжу в Томск на лекции известных профессоров.

— Это тоже хорошо. Так учились многие большевики. Иди их дорогой. Не робей! Поможем!

Эйхе встал, пожал мне руку, и я понял, что вопрос решен.

Неделю спустя состоялся пленум крайкома комсомола, на котором я был избран членом бюро Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ и утвержден ответственным редактором краевой комсомольской газеты «Большевицкая смена».

В один из декабрьских дней 1932 года я пришел в редакцию «Большевистской смены». Коллектив редакции хорошо знал меня, поскольку я активно участвовал в работе газеты, выступая на ее страницах по самым различным вопросам комсомольской жизни.

Встретили меня доброжелательно, но все-таки известную настороженность к себе я чувствовал. Уж очень молод был редактор! Среди сотрудников некоторые работали много лет, обладали журналистской хваткой и давно перешагнули комсомольский возраст.

В крайком партии заведующим сектором печати работал старый коммунист, литературный критик Анатолий Васильевич Высоцкий, (позже он станет главным редактором журнала «Сибирские огни»), к помощи которого мне приходилось прибегать многократно.

— «Большевистская смена», Георгий,— наставлял меня в первой же беседе Высоцкий,— должна быть живее, деятельнее, доступнее для молодежи. Имеет большое значение форма подачи материалов, язык и, наконец, авторы. Их должно быть как можно больше. Конечно, без профессионалов не обойтись, газете нужен фельетон, юмор, серьезная статья, стихи,— юнкоры это не поднимут. Но главное на полосе — жизнь молодежи на стройках, на заводах, в деревне. Делать это нужно прежде всего силами юнкоров.

Советы Высоцкого базировались на его огромном опыте работы в газетах и конкретном знании того что и как публиковалось на страницах самой «Большевистской смены».

— Но, разумеется, все, что делается в газете, должно делаться ради осуществления генеральной линии партии и указаний товарища Сталина,— подчеркнул Высоцкий и хлопнул ладонью по столу, завершая нашу беседу.— Важнее этого, запомни, Георгий, ничего нет. Во имя этого мы живем и боремся...

Западная Сибирь переживала бурное развитие. «Большевики заново открывают Сибирь! Даешь Большой Кузбасс!

Даешь Кузнецкстрой!» Эти и подобные призывы можно было встретить не только на газетных страницах, они звучали по радио, их воспроизводили на плакатах, они кричали с кумачовых транспарантов, натянутых через улицы.

Приметы происходящих перемен в Западной Сибири искать не требовалось. Они встречались повсюду. Новосибирск был в лесах строек. Все чаще его называли «сибирский Чикаго».

Самые неожиданные делегации и высокие должностные лица зачастили в наш город. Вот прибыл всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, вот приехал нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, вот пожаловали иностранные писатели-антифашисты Мартин Андерсен Нексе, Поль Вайян Кутюрье, Франц Карл Вайскопф, Иван Ольбрихт. Вот приехала старейшая большевичка, возглавлявшая МОПР (международную организацию помощи революционерам) Елена Стасова. Одновременно с ними нагрянули два капиталиста из Англии для закупки барабинского масла, славившегося своим отменным вкусом на всю Европу. Прибыли и американские инженеры-угольщики, принимавшие участие в проектировании новых шахт.

Но, может быть, самой разительной приметой происходящих перемен были поезда, проходившие через Новосибирск. Они были битком набиты разнообразным людом. Тут была молодежь, ехавшая по комсомольским путевкам на Дальний Восток, артели плотников из Вятской и Вологодской губерний, прослышавшие о хороших заработках в зарождающихся шахтерских поселках, целые семьи из Ростова и Воронежа с детьми, со стариками, с домашним скарбом: самоварами, ящиками, узлами. А многие спешили оборвать свои вековые связи с крестьянским трудом, ускользая в этом буйном потоке от всевидящего ока НКВД. В переполненных и прокуренных вагонах смешались воедино все двенадцать языков и наречий России, и у всех была одна цель: понадежнее осесть на просторах необъят-

ной Родины, пустить корни на новых местах и выжить во что бы то ни стало под солнцем, сохранив родовую тетиву.

Был период, когда бюро крайкома комсомола уполномочило меня принять обязанности ответственного за встречу, бытовое и идеологическое обслуживание поездов с мобилизованной молодежью. И пару месяцев я не знал, где и когда начинается день и кончается ночь.

Были сформированы бригады из парней и девчат, добровольно выполнявших всю эту работу. Едва поезд останавливался, как в вагоны бросались девчата с ведрами и тряпками, с вениками и щетками. Едва они уходили из вагонов, на смену им вбегали другие девчата в противогазах. Из огородных леек они разбрызгивали дезинфекционные растворы, руками в резиновых перчатках разбрасывали яд для грызунов, атаковавших от всеобщей голодухи подъездные пути, вокзалы и поезда. Сыпной и брюшной тиф косил людей. Когда с поездов снимали заболевших, начиналась работа по размещению их в санитарных бараках, и без того уже переполненных больными.

Пока этим занимались санитары, агитбригады, работавшие параллельно, распространяли по вагонам газеты, книги, листовки. Тут же возле поездов, стараясь перекрыть гудки маневрирующих поездов, читались политические новости.

Случались у молодежных поездов и более длительные стоянки — сутки-двое. Тогда их отводили на запасные пути, людей вели в баню, обрабатывая одежду в «вошебойках».

А потом поезда снова приходили в движение, и катились, катились эти трудовые эшелоны на восток.

На страницах нашей газеты появлялись заметки ребят, ехавших осваивать далекие земли, где они писали о предстоящей работе как деле, выше которого ничего не могло быть.

Надо отдать должное тому замечательному поколению — оно действительно мужественно перенесло все трудности первопроходцев, оставив нам образцы вдохновен-

ного труда и сознательности. И это было не бодрячество, а истинное служение идеям своего неповторимого времени.

Ну, а теперь вернусь на Советскую улицу в жилые комнаты редакции газеты, где я начал редакторствовать (замечу попутно — кабинета редактора не было, со мной в одной комнате работали замредактора и ответсек редакции). Моя работа начиналась рано утром (чаще всего я приходил в редакцию первый), а заканчивалась поздно вечером и частенько за полночь.

Но было одно железное правило, которое входило в мой ежедневный распорядок: под вечер, когда полосы будущего номера были сверстаны, «запас» отослан в типографию, я на час-два садился за книги: читал, конспектировал, готовил рефераты.

Вначале сотрудники редакции, не считаясь ни с чем, пытались различными докуками срывать этот распорядок, но когда ко мне присоединились заместитель и ответсек, мы вывешивали на двери какое-нибудь шутовское объявление, вроде: «Если у тебя не смертоносный случай, пережди до пяти. Грызём гранит науки». После этого «теоретические часы», как я называл это время, стали появляться и в отделах редакции.

Между прочим, это как-то облагораживало жизнь нашего коллектива, где, как и во всяком живом собрании людей, возникали свои проблемы, случались недоразумения, вспышки пристрастий по тому или иному поводу. Тем более что у нас работали семейные и холостые мужчины, замужние и незамужние женщины.

День за днем мы старательно оживляли газету. В самой редакции были сотрудники, хорошо владеющие пером. Прежде всего Николай Драчев, ставший впоследствии моим закадычным другом (о нем я еще буду иметь случай рассказать подробнее) и Александр Пугачев, прошедший отличную школу газетной работы.

Внимание к литературной стороне материала породило в редакции соревнование на лучший аншлаг («шапку» — в редакционном просторечии) и заголовок статьи и заметки. Иногда мы так увлекались этим, что переходили грань разумного и нам крепко, хотя всегда по-товарищески, попадало от Анатолия Васильевича Высоцкого.

Помню к полосе о недостатках культурно-просветительской работы в Кузнецке, где сооружался гигант советской металлургии, мы придумали звонкую «шапку»: «В городе радости бездельники творят скуку». А полосу о сторожевых собаках, несущих охрану амбаров в колхозах и совхозах, украсили живописной «шапкой» из букв, напоминающих собачьи морды: «Пусть и Жучка станет знаменитой» (мол, не только собаки пограничников, но и деревенские псы тоже достойны всеобщего внимания).

— Георгий, не высказывайте из шаровар, а то останетесь голыми оригиналами, — острил по телефону Анатолий Васильевич.

Изводили нас опечатки. Объяснялось это скорее всего тем, что за линотипам сидели выпускники фабзавуча полиграфии, не имевшие ни опыта, ни необходимой грамотности. Ошибки ловили буквально все в редакции и в типографии, но иногда они приводили нас к большой беде. Правда, порой удавалось в самый последний момент поймать опечатку и отвести от себя возможный удар.

Помню, как-то утром я почувствовал необъяснимое беспокойство за вышедший в свет номер. Утром, не дожидаясь завтрака, я быстро оделся и помчался в экспедицию, где уже должны были паковать газеты в пачки для отправки на поезд.

Так как в городе довольно часто происходили перебои электроэнергии, то и в этот день выпуск газеты несколько задержался. В экспедицию поступило только три тысячи экземпляров из тех десятков тысяч, которые составляли общий тираж газеты.

Подойдя к ротационной машине, которая печатала нашу газету, я взял один экземпляр, остро пахнущий керосином, и развернул его под лампой.

И тут же мне бросились в глаза: «Сталин большой и гиблый ум». Эти слова приводились в интервью французского государственного деятеля Эдварда Эрно, посетившего Советский Союз.

Опять она, проклятая опечатка! Но какая! За нее и я, и директор типографии поплатимся головой. Вместо «гибкий» проскочило «гиблый».

Я остановил ротацию, бросился к директору типографии и мы поспешили в экспедицию. Там уже часть отпечатанного тиража собирались отправить в городские почтовые отделения для доставки подписчикам.

Мы с директором типографии забрали из экспедиции отпечатанные экземпляры, собрали в кучку приправочные оттиски, лежавшие возле ротационной машины, и затолкали в горящую топку. Строка с искаженным словом была перелита на линоTYPE и вставлена на место старой строки. Никаких следов не осталось!

Однако дня через три директора типографии и меня вызвали в отдел печати управления Госбезопасности и учинили допрос. Так что же произошло с номером газеты, почему о происшествии не составили акта? Кто разрешил уничтожить тираж, не оставив ни одного экземпляра бракованного подлинника?

Мы знали, что такое может произойти — наверняка кто-то из типографии или из экспедиции мог «настучать» о происшедшем. Самое главное, надо было избежать даже малейшего упоминания имени Сталина.

— В одной из строк обломила литеру, и получилось бранное слово. Зачем же коллекционировать матерщину? — смущенно сообщили мы, и нас с миром отпустили.

И еще одно происшествие стоило мне душевного потрясения. Как я уже упоминал, в Новосибирск в это время зачастили делегации и должностные лица крупного масштаба. В их числе оказались два коммерсанта из Великобритании. В короткой заметке краевого отделения ТАСС они характеризовались как знаменитые люди, имевшие титулы лордов.

И вот с этими лордами у нас произошло ЧП, из которого нам пришлось выходить уже с помощью работников НКВД.

В номере газеты на первой полосе, почти параллельно шли два материала: слева сообщение о приезде английских коммерсантов, с их миниатюрными портретами на полколоники каждый. А справа — штриховой рисунок: две колоритные свиньи вторглись в помещение сельского клуба, и громят библиотеку, смешивая книги с грязью. Под рисунком расположилось восьмистишие нашего сатирика Андрея Кручины, начинавшееся примерно так: «Здрав свои тупые рыла...» Факт был подлинный, под рисунком значился даже адрес деревушки, где свиньи забрались в библиотеку. Но тем не менее — ЧП было на лицо. Вероятно, по недосмотру мастера клише были перепутаны. Английские коммерсанты встали на место свиней, а свиньи заняли место лордов. Причем, текстовки не только не облегчили положение, но звучали явно с намеком и откровенной издевкой. К тому же внешний образ лордов не отличался изяществом: полные, обрюзгшие лица, подслеповатые глаза, слегка вздернутые носы. Короче сказать, одно к другому как назло.

Прискорбный казус был обнаружен, когда более тысячи экземпляров разнесли по новосибирским адресам, в том числе и в гостиницу «Доходный дом», где остановились зарубежные гости.

Я обратился за помощью к органам госбезопасности. Было решено, в Новосибирске газету изъять любой ценой. Что касается изъятия газеты из районов, с этим было проще. Газета пока дальше почтовых вагонов не ушла, и возврат ее был обеспечен соответствующей телеграммой в почтовые отделения и под личную ответственность начальников.

К середине дня в Новосибирске были собраны все газеты кроме одного экземпляра, который не вернул как раз почтовый узел гостиницы «Доходный дом». Наши старания окончились ничем. Оставалось ждать дипломатического скандала. Нам почему-то казалось, что этот экземпляр оказался непременно у коммерсантов!

Прошло два дня. Англичане уехали из города. «В Москве поднимут скандал», — рассуждали мы в редакции.

Однако прошла неделя, потом еще, но по-прежнему было тихо.

Высоцкий позвал меня в крайком партии, и с грустной усмешкой сказал:

— Ну, Георгий, считай, пронесло! Может быть, тот единственный экземпляр, который не вернули нам из гостиницы, сослужил кому-то хорошую службу. А все же делай выводы...

Я сделал выводы. Никогда больше не допускал, чтобы на полосе на одной линии ставились два клише. И никогда больше критические материалы на внутренние темы не соседствовали с материалом о международной жизни. А самое главное, я решил еще на одну меру, которая хотя и требовала от меня новых усилий, я сознательно пошел на это.

После «приправки» газеты на ротации, я просматривал номер и подписывал его. Происходило это чаще всего в три часа ночи. Ночной рассылный типографии привозил его мне в коммунальное общежитие, где у меня была комната. Благо общежитие находилось в трех кварталах от

типографии. Чтобы не беспокоить жильцов, была устроена специальная сигнализация: колокольчик, висевший у кровати, соединялся проволокой, выходившей через форточку на улицу. Рассыльный дергал проволоку, колокольчик звенел, и я мгновенно просыпался. Открывал окно, забирал газету, просматривал полосы и возвращал рассыльному. И успокоенный засыпал до утра.

Так прошло три месяца. С наступлением холодов пришлось этот порядок изменить. Были введены ночные дежурства ответственных сотрудников, с последующим отгулом. В итоге мы все-таки добились, что ляпсусы в газете сократились.

Помимо основного издания, газета «Большевистская смена» имела два, а временами и три выездных издания. Из этих двух-трех изданий одно было постоянным. Оно выходило в Новокузнецке на строительстве третьей домны металлургического комбината и считалось подшефной комсомола Западной Сибири.

Еще одна выездная редакция работала в Новосибирске, на строительстве второго моста через Обь. Эта стройка тоже была подшефной комсомола. И, наконец, третью выездную редакцию мы считали сельской. Она работала главным образом в дни сева или уборки. Мы направляли ее в разные районы, но чаще всего в колпакскую МТС, где газета пользовалась расположением и дирекции МТС, и политотдела станции, который возглавлял Ян Петрович Рыневич, имевший большой опыт партийной работы в разных условиях, вплоть до подполья в Прибалтике.

Организация выездных редакций на важных объектах пятилетки была в те годы делом весьма распространенным. Такие редакции организовывали и центральные газеты, и местные. Практический эффект был огромным, а затраты, организационные и материальные, — минимальными.

Во главе выездных редакций стояли штатные сотрудники (два-три человека), а они опирались на рабсельковский актив, вступали в деловой контакт с партийными и комсомольскими организациями, быстро входили во все проблемы на стройках и в колхозах, и, обнажая недостатки, выявляя лучших людей, оказывали существенную помощь.

Конечно, сложностей возникало немало. Выездное издание хотя и выходило в одну четвертую полного газетного листа, но его надо было где-то напечатать, а напечатав —

доставить к месту распространения. Компактных передвижных типографий было мало, и приходилось искать стационарные типографии и там пристраиваться кое-как.

У выездных редакций была и вторая задача — они выполняли обязанности корреспондентских пунктов основного издания, снабжая газету материалами на темы текущей жизни. Но, несмотря на многие сложности, работа шла, приносила удовлетворение, так как люди тогда очень ценили вмешательство печатного слова.

Я внимательно следил за нашими выездными изданиями. Естественно, по значению на первом месте была выездная редакция на строительстве комсомольской домны. Туда мне приходилось выезжать неоднократно.

Незабываемое впечатление производила в ту пору строительная площадка Кузнецкого металлургического комбината. Она простиралась на десятки километров. Ни днем, ни ночью не затихала здесь работа. Я бывал на строительной площадке и летом, и зимой, и в солнечную погоду, и в глубокое ненастье. Видел ее и с высоты строительных лесов домен и мартенов, и со дна котлованов. И всегда возникало впечатление, что комбинат вырастает, как гигантское дерево из земли, опираясь на могучие корни, скрытые в недрах, и стелет свои ветви по равнине, раздвигая сопки, озера, чащобу леса к горизонту.

После Великой Отечественной войны пришлось мне бывать на многих стройках страны, да и на зарубежных. Удивляло несчетное число разных машин, которые гудели, шумели, потрясали землю, вздымали в небеса стрелы чуть ли не до самых облаков. И невольно вспоминалось строительство Кузнецкого комбината. Характерными деталями строительного пейзажа были не машины, а человек с лопатой и тачкой или конь, запряженный в сани с ящиком, наполненным землей. Все это двигалось в беспорядочном лабиринте насыпей из песка и глины, штабелей огнеупорного кирпича, нагромождения каких-то конструкций из стали и чугуна.

Когда домны и мартены стали наконец выдавать долгожданный металл, я вновь приехал в Кузнецк. Мне верилось и не верилось, что я хожу по той самой земле, которая была взрыта простыми лопатами, загромождена кирпичом и железом до небес, а вот теперь являет собой новь, но сотворенную не мирозданием, как эти горы или реки Шории, а умом и руками человека и его пониманием целесообразности.

В чем же состоит тайна? Какие истинные потоки природы дают человеку такую власть? Может быть, кому-то покажутся наивными мои размышления, но меня до сих пор ошеломляют ставшие обыкновенными события нашей жизни. Помню, как прикованный я стоял в машинном зале иркутской ГЭС. Мне трудно было оторваться от модели космического корабля «Мир», который показывал летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой. В Институте механизации и автоматизации Сибирского отделения Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени В.И. Ленина в Новосибирске мне показали экспериментальный прибор, который в считанные секунды раскрепощал энергию, заключенную в листке полевого растения.

Я не смог бы с точностью передать подробности этих и подобных им минут. Видимо, непосильно расчленить собственные ощущения на детали, не всё ведь человеку подотчетно в нем самом, да и есть ли какая-то гарантия, что, начиная рассказывать другому о себе, не впадешь в другую логическую структуру.

А теперь расскажу об одном случае, психологическое потрясение от которого и теперь еще живет в моей душе. Я уже упоминал, что в Кузнецке я бывал часто, может быть, даже чаще, чем это требовали соображения работы. Меня, честно говоря, просто тянуло в Кузнецк. Постепенно у меня появлялись знакомства среди молодых строителей, завязывалась дружба, обещавшая стать долголетней. Я любил ходить по молодежным общежитиям, охотно

посещал вечера молодежи, часто выступал то с каким-нибудь докладом на текущие темы, то с краткой речью о работах газеты, о работе Западно-Сибирской комсомолки. И хотел бы заметить, что я не был исключением среди комсомольских работников. Таков был стиль того времени, таков был характер требований к нам самого времени. Жили с молодежью, ели из одного котла, спали в ее тесных, а порой и смрадных общежитиях, старались уметь делать все, к чему призывали других. Например, все работники «Большевистской смены», не исключая ответственно редактора, во время выезда на места брали с собой квитанционные книжки, чтобы в случае необходимости оформить тут же, как говорится, не отходя от кассы, подписку на газету. И никого это не смущало, и давало нашему изданию не одну сотню дополнительных подписчиков.

Я и тогда задавал себе вопрос, что меня влекло на Кузнецкстрой, задаю его и теперь. Там работали многие тысячи людей, работали самоотверженно, увлеченно, я бы сказал, с той степенью упоения, когда человек перестает замечать трудности, неудобства, даже лишения, когда воодушевление захватывает его без остатка. В те дни не было пристрастных разговоров о героизме труда, о неслыханном подвиге (что стало весьма характерным три-четыре года спустя). Просто люди работали с полной отдачей сил, не считаясь ни с чем.

Когда я теперь думаю об этом, мне совершенно очевидно, — в основе той героики лежала вера в наше дело. При чем вера эта не была отвлеченной, абстрактной, а имела конкретные очертания. Ребята рассуждали примерно так: «Мы строим новый мир, и он, этот новый мир, вот он перед нами. Сегодня наши руки и спины надорваны тяжелой работой, но вот построим домны и мартены, из стали и чугуна сделаем машины и тогда отбросим прочь все эти лопаты, байдарки, кайлы, ломы, которые калечат нас сегодня».

Помню весьма показательный случай. Стояли жуткие морозы. Стройка утопала в сумраке изморози. Пылавшие

костры в котлованах не прогревали землю. Стоило лишь сдвинуть угли и золу с кострища, как мороз снова схватывал землю и она каменела, и кайло отскакивало от нее, не оставляя даже следа. Температура опускалась до сорока градусов. Производительность землекопов настолько упала, что было решено прекратить работу в котлованах, погасить костры. К тому же на стройке появились случаи обморожения, особенно среди тех, кто работал на лесах, где было еще холоднее от ветра, чем на земле.

По радио объявили, что руководство стройки рекомендует не выходить на работу, переждать пик морозов. Однако никто всерьез эти рекомендации не принял. Ни на миг не прекращалась работа в зоне бригады землекопов Петра Постникова. Это была передовая комсомольская бригада на стройке, она подавала пример не только по производительности, но и по многим другим показателям: по охвату ребят общеобразовательной и технической учебой, по спортивной подготовке, по содержанию в образцовом порядке общежития, по читаемости книг и газет. Петю Постникова я знал хорошо, это был батрак одной из деревень Икморского района. Красивый русоголовый парень двадцати лет, с голубыми глазами, сильный и ловкий, он был любимцем бригады. Ставил перед собой большие цели: стать инженером, научиться плавить металл, изобрести такую землеройную машину, которая сама бы передвигалась по горизонтали и сама углублялась в недра. Убежден, что свою мечту он осуществил бы. Но судьба его оказалась трагичной. В одну из тех морозных ночей произошла авария. На площадке одной из домен, вероятно, от мороза, лопнули металлические обручи, скреплявшие леса. Высокая башня из тяжелых бревен рухнула, превратившись в хаотическое нагромождение дерева и железа. На одной из площадок башни, в «тепляке», сбито из досок для обогрева людей, проходило собрание комсомольского актива, и Постников был здесь по поручению горкома. Тут и закончилась его жизнь. И был он, к великому сожалению, не один.

Авария вызвала и скорбь, и негодование, мороз морозом, но безопасность в любых условиях должна быть первой заповедью. На строительство немедленно приехал Эйхе. Здесь я и встретился с ним в необычных условиях.

Было около трех часов ночи. Шла работа ночных смен. Наша подшефная комсомольская домна росла и вширь, и ввысь.

Целой группой — здесь были работники горкома комсомола и нашей выездной редакции, — мы поднимались на леса домны. Подъем был крутым, местами доски, разделенные брусками на ступени, обледенели, и, чтобы продвинуться вперед, приходилось цепляться за ограждения из проволоки и легких тесин. На одной из самых верхних площадок, в сумраке, перемешанном со снегом, мы увидели людей. Рядом стояли двое военных с фонарями, свет которых пересекался с лучами прожекторов, поднятых на вершины столбов. Наше приближение вызвало у военных беспокойство, они замахали руками, пытаясь задержать нас, но стоять на стропилах было и неудобно и опасно, и вопреки их запрету мы все-таки вышли на площадку.

Трех людей из этой группы я сейчас же узнал. Это был Эйхе, начальник строительства Франкфурт, секретарь горкома партии Хитаров. Они уже окончили осмотр домны и подходили к спуску. Эйхе был в своем неизменном черном полушубке, в серой папахе, в валенках с загнутыми голенищами.

— А ты зачем тут? — вдруг узнав меня, спросил Эйхе.

— Эта домна подшефная комсомола, Роберт Индрикович, — ответил я.

— Да, да! — воскликнул Эйхе и, сделав шаг, обернулся: — Люди гибнут!! Учите молодежь безопасности!

Мы поняли, что имеет в виду Эйхе, и отозвались хором:

— Обязательно будем!

Эта встреча вьюжной ночью на лесах будущей домны запала нам в душу. Мы знали, конечно, сколько действительно вникает руководитель краевой партийной организации Западной Сибири во все дела и проблемы Урало-Кузнецкого промышленного комплекса, но встретить его здесь все-таки никак не предполагали.

Эйхе не было еще и пятидесяти лет, но его биография большевика-подпольщика, сосланного в Сибирь еще задолго до революции, и высокий пост, который он занимал уже не первый год, создавали вокруг его имени ореол некой святости. «Как он мог рисковать ночью, в бурю, и забираться на такую высоту?! Куда смотрели Франкфурт и Хитаров?!» — рассуждали мы, когда Эйхе с товарищами спустился вниз. Но тут же возникло и другое суждение: «Вот он настоящий большевик! Невзирая на старость (а нам, двадцатилетним, он казался уже стариком), вьюгу, риск подъема на такую высоту, идет ночью, чтобы самому все увидеть, а не со слов других». И каждый из нас примерял эти суждения к себе, сознавая, что жизнь таких людей — пример для нашего поколения.

Авария, о которой я упомянул, не была единственной. И наказ Эйхе «учите молодежь безопасности» был наполнен тревогой человека, умевшего в частном видеть общее. Не только на строительстве кузнецкого металлургического комбината случались аварии. Происходили они на шахтах, на заводах, даже на полях. Случаи были разные, а причина одна — слабое владение техникой, неумение управлять сложными машинами.

Могучим эхом отозвался тогда клич партии: «Оседлать технику, породниться с машинами!» Не осталась в стороне от этого массового движения и комсомольская печать. «Большевистская смена» и в основном издании, и в выездных выпусках поддерживала ребят и девчат, устремившихся в технические кружки, в клубы науки и техники, засевших за учебники и специальные пособия, издававшиеся тогда с большим размахом.

В комсомольских ячейках по примеру «теоретических часов», стали появляться «технические часы». Профессора вузов, научные работники из проектных бюро, работники плановых органов, просто инженеры появились на трибунах комсомольских пленумов и собраний.

Наш редакционный коллектив (а в нем было около четырех десятков сотрудников), не мог не принять участия в этом движении. Еженедельно, в определенный час, довольно большой группой мы отправлялись в Новосибирский клуб инженерно-технических работников, где читались интереснейшие лекции из цикла научно-технических проблем.

Иногда мы приглашали к себе в редакцию кого-нибудь из работников Западно-Сибирской плановой комиссии, кстати говоря, располагавшей авторитетными, компетентными работниками, и они посвящали нас в научные, экономические и технические аспекты бурно протекавшего преобразования нашего края.

Вот так мы и жили день за днем, вторгаясь в жизнь, черпая в ней свои заботы и свои нужды.

Центр,— имеется в виду ЦК партии и Совнарком СССР,— все больше и больше обращали внимания на Западную Сибирь. Цекамол (так мы тогда называли Центральный комитет ВЛКСМ) старался не отставать от общего ритма. Почти безвыездно на Кузнецком строительстве и в шахтовых поселках Кузбасса работали партгруппы ЦК комсомола, где обязательно было несколько отличных лекторов. Тут были и международники, и историки, и естественники, и искусствоведы. Со своими лекциями они проникали в самые дальние населенные пункты. По месяцу или два работали они у нас в крае, а едва уезжали, на их место приезжали другие. Это была огромная помощь ЦК комсомола местным комитетам.

Живая связь с Цекамолом состояла и в регулярных приглашениях нас в Москву, то на совещание, то на бесе-

ду, то для поездки в какую-нибудь другую организацию для изучения опыта и передачи своего. Мне лично как-то пришлось побывать в Ленинграде. Две недели я ходил по ленинградским райкомам, редакциям молодежных газет и журналов, и даже оказался на собрании комсомольского актива, в котором участвовал Сергей Миронович Киров.

— Зайди, Георгий, есть срочный разговор,— позвонил мне однажды Саша Кокорин, только что сменивший на посту Первого секретаря крайкома комсомола Александра Голикова, перешедшего на партийную работу.

Я поторопился в крайком.

— Предстоит нам поездка в Москву,— сообщил Кокорин.— Телеграмма от Косарева.

— Кому нам?

— Приглашают первых и вторых секретарей ЦК республик, крайкомов, обкомов, редакторов некоторых газет. От нашего края едут четверо. Ты в их числе.

— А каким вопросам посвящено совещание?

— Работе с сельской молодежью. Подчеркнуто значение совещания. Так и сказано в телеграмме Косарева: важное значение для будущей работы на селе.

Через неделю мы сели в транссибирский экспресс и отправились в Москву. По тем временам это был самый быстрый и самый благоустроенный поезд. В нем было всего пять пассажирских вагонов, багажный вагон, почтовый, и вагон-ресторан. Люди охотно ездили в этом поезде, хотя билет стоил в два раза дороже, чем в обыкновенном пассажирском.

Это была первая моя поездка в поезде такого класса, и я немало был удивлен теми удобствами, которые встретил здесь. Блестевшее лаком и медью двухместное купе, хрустящее накрахмаленное белье под мягкими шерстяными одеялами, занавески на окнах с вышивкой «НКПС», стойкий запах душистого мыла в умывальниках, двери в которые открывались прямо из купе, внимательный, а точнее, услужли-

вый проводник (тогда их еще называли «кондукторами»), то и дело подносивший хорошо заваренный чай в серебряных подстаканниках, вкусные завтраки, обеды и ужины в вагон-ресторане — словом, все это делало нашу длинную дорогу необычайно приятной. Пользуясь свободным временем, мы о многом переговорили. Рассчитывая, что совещание займет два дня, мы договорились, кто будет выступающим от нашей делегации, понимая, что больше одного оратора нам не удастся «протолкнуть». Выбор пал на Володю Шунько, который недавно был избран вторым секретарем крайкома. О его подготовленности и компетентности я уже упоминал, но тут имело значение и еще то обстоятельство, что второй секретарь у нас непосредственно занимался деревенским комсомолом, отвечая за все стороны его деятельности. Ему, естественно, на таком совещании стоило и выступить.

В Москву приехали рано утром. И с Ярославского вокзала пешком направились в Цекапол, неся в руках свои чемоданчики с пожитками, деловыми бумагами и книжками для дорожного чтения.

Около девяти утра вошли в здание ЦК комсомола в Ипатьевском переулке (ЦК ВЛКСМ размещался тогда в одном из нынешних зданий ЦК КПСС).

В приемной управления делами сели за столы регистрации. Бросилась в глаза подчеркнутая тщательность, с какой проводившие регистрацию проверяли документы. Нам предложили заполнить анкету, где было множество вопросов, а затем последовали дополнительные устные вопросы. Анкет тогда было так много, что никого не удивили, например, вопросы о военных специальностях, так как военная подготовка получила тогда широкое распространение. Тот же Володя Шунько написал в своей анкете: «Пилот, парашютист».

Вскоре нам принесли из другой комнаты в особых конвертах документы на совещание и вот тут проявленная тщательность при регистрации объяснилась:

— Совещание будет проходить в Кремле, в зале Андрея Первозванного. Вот пропуск туда. При утрате не возобновляется. Питание там же, в Кремле, в столовой Владимирского зала. Это талоны на завтраки, обеды, ужины. А это талоны на табачные изделия. Отдельно талон на книги — литературный паек. Жить будете в гостинице Коминтерна [позднее — гостиница «Центральная», на улице Горького — ред.]. Поняли? Все будет происходить в Кремле. Потому-то Косарев в телеграмме подчеркивал значение этого совещания, — подняв палец вверх, сказал наш первый секретарь. Но это объясняло далеко не все. Главное было впереди.

На следующий день открылось совещание. С докладом выступил генеральный секретарь Цекамола Александр Косарев.

Всё мне было интересно в Москве. Да и другим ребятам тоже. В гостинице мы встретили несколько известных деятелей коммунистических партий зарубежных стран. В Коминтерне проходило какое-то совещание, и они прибыли в Москву для участия в нем. Поскольку имена некоторых из этих товарищей довольно часто мелькали в печати, мы смотрели на них с откровенным интересом. Ну а самое главное — Кремль. Всё тут захватывало нас, начиная с того, что еду нам подавали на посуде, помеченной инициалами последнего царя «НР». Вензелями с этими буквами были украшены тяжелые, из чистого серебра, ложки, ножи и вилки. И на белоснежных салфетках стояла та же метка «НР».

В обеденный перерыв, когда мы вышли из дворца посмотреть легендарный двор Кремля, где на субботнике когда-то работал Владимир Ильич, Вася Архипов, один из осведомленных работников Цекамола, выдвиженец из Сибири, подойдя к нам и понизив голос, сказал:

— А сейчас, земляки, покажу вам, где живет товарищ Сталин. Только так: не задерживаться напротив окон, и тихо, без болтовни идти, будто по другому делу...

Мы пошли за ним, стараясь всем видом изобразить, что мы заняты чем-то другим.

— Вот видите эти окна с белыми занавесками? Его квартира! Видели?! А теперь — забудьте!

Только отойдя на почтительно расстояние от малоэтажного дома, притиснутого к более крупному зданию, мы многозначительно переглянулись, и кто-то выразил общее впечатление:

— Скромно! Могли бы вождю и получше дать квартиру!

И, как нам было сказано, постарались забыть увиденное.

Второй день совещания был короче — нам предстояло посетить Большой театр, где давали оперу «Кармен». Все считали, что нам подвалила удача — попасть в Большой театр тогда было непросто.

Часов в пять мы вышли во двор. Пропускали нас в Кремль через Ильинские ворота, те самые, которые обращены к зданию Исторического музея.

Чтобы выйти из Кремля, мы прошли мимо Царь-пушки, пересекли Ивановскую площадь и вдоль продолговатого корпуса Кремлевского арсенала, где размещалась школа краскомов (красных командиров), вышли на Красную площадь.

Отлично помню этот февральский ранний вечер. Предзакатное солнце искрилось и горело на золоченых маковках соборов и башен. Из Замоскворечья тянул еще по-зимнему морозный ветерок, приносивший запахи фабричных дымов.

Мы шли быстро, разговаривая, смеясь. И вдруг говор и смех разом смолкли, и из первых рядов нашей цепочки послышалось приглушенное:

— Сталин! Смотрите, Сталин!

И тут все увидели Сталина. На Ивановской площади в Кремле в то время был островок, где росли несколько елей. Именно здесь и прогуливался Сталин в обществе какого-то рослого краскома. Тот то и дело склонялся к Сталину, который едва достигал ему до плеча.

Сталин был в черной меховой шапке, с опущенными наушниками, в длинном, чуть ли не до пят черном пальто. Руки спрятаны в карманы, а в зубах — слегка дымившаяся трубка.

Он двигался не спеша, изредка кивал головой, казавшейся непропорционально большой по сравнению с узкими плечами и небольшим ростом. Было во всем его облике что-то уж очень обыкновенное, даже простоватое. Но именно это и вызвало у нас чувство умиления.

Но вместе с тем подумалось: вот он ходит так просто, обыкновенно, как все мы смертные, а думает, наверное, обо всей стране, о жизни миллионов, обо всех нас. И может быть, ему сейчас тоскливо гулять с этим военным, а не с любимой женой, которую он скорбно проводил совсем недавно в мир иной, перед которым и он не властен.

Мы стали сбавлять шаги, стараясь лучше рассмотреть Сталина, запомнить навсегда его облик. Это казалось счастьем и неслыханной удачей, увидеть самого Сталина вот в такой будничной обстановке.

— Не останавливаться! Не сбавлять шагов! — услышали мы резкие голоса военных, возникших перед нами будто из-под земли.

Но мы не ускорили шагов и, оглядываясь, стараясь не упустить ни одной подробности, пока не вошли в проемы Ильинских ворот. Тогда мы не знали, что не только еще раз увидим Сталина, но и услышим его...

На третий день совещания мы пришли на вечернее заседание, которое должно было стать заключительным, и сразу заметили, что зал по составу стал иным. То там, то здесь сидели военные. Появились в зале известные в то время деятели партии и государства: Бубнов, Стецкий, Яковлев...

Заседание началось с продолжения прений. Выступали товарищи с Северного Кавказа, из Центрально-Черноземной области, с Урала. Но по тому, с каким напряжением в президиуме переговаривались, всем становилось ясно — предстоит что-то более значительное.

Вдруг одна из зеркальных дверей раскрылась, и в Президиум вошли Сталин и Молотов. Молотов отставал от Сталина на два-три шага. Шли они не спеша. Подчеркнуто не спеша.

Сталин был в сером костюме: двубортный пиджак со стоячим, но отложным воротником, застегнут наглухо, ровные брюки (не галифе!) заправлены в сапоги. Волосы

посеребрены сединой, глаза чуть прищурены. В одной руке трубка, другая рука большим пальцем заложена за борт пиджака на уровне средней пуговицы.

Молотов был в синем костюме, ботинках, в галстук с белым горошком. Широкое лицо, абсолютно бескровное, круглые глаза настороженно смотрели из-под пенсне в золоченом ободке.

Все — в Президиуме и в зале — вскочили, дружно с молодым азартом захлопали.

Сталин и Молотов сели слева от Косарева. В ответ на овации Молотов слегка потряс крупной лысеющей головой. Сталин же наоборот замер, а потом поспешно опустился в кресло. Хлопали долго и упоенно. Молотов привстал и снова потряс головой. Сталин сидел неподвижно. Потом он резко повернул голову и что-то сказал сидящему рядом Косареву. Что сказал — никто не услышал. Но по движению его губ, прикрытых толстой складкой прокуренных усов, все угадали:

— Продолжайте!

Косарев прервал звонком аплодисменты, все сели, и он объявил:

— Слово предоставляется секретарю Западно-Сибирского крайкома комсомола товарищу Шунько.

Я сидел рядом с Володей в четвертом ряду, как раз напротив трибуны. Вот, подумал я, выпала же Володе судьба: выступать в присутствии Сталина! Когда Шунько встал, я успел пожать ему руку — держись, старина, не робей.

Володя был человек мужественный, но волнение одолевало его. Голос дрожал, две-три паузы оказались затянутыми, но логика выступления от этого не пострадала, и он вскоре сумел овладеть собой в полной мере.

Сталин взял со стола лист бумаги, карандаш и что-то записал. Возможно, что-то совершенно не имеющее отношения к выступлению Шунько, но всем нам, сидящем в зале, показалось, что именно оратор высказал мысль, до-

стойную внимания вождя. Краем глаза и сам Шунько заметил движение руки Сталина и, вероятно, это ободрило его.

К удовлетворению президиума, Шунько закончил свое выступление здравицей во славу Сталина. Все опять захлопали и дружно встали. Встал и Сталин, но фигура его оставалась как бы неподвижной, и казалось, что все происходящее его абсолютно не трогает.

Шунько вернулся и сел рядом со мной. Выступление далось ему тяжело, лицо пылало, руки были мокрыми и дрожали.

После Шунько выступали еще трое. Их выступления уступали речи нашего делегата, и мы отметили про себя: «Наш-то выступил куда лучше!»

Сталин во время этих выступлений несколько раз склонял голову, то в сторону Молотова, то в сторону Косарева и отпускал какие-то короткие реплики. И вдруг, когда один из выступавших закончил речь здравицей в честь Сталина, из зала послышался звонкий голос:

— Просим товарища Сталина выступить!

Этот возглас потонул в аплодисментах, и когда они чуть стихли, послышался новый возглас: «Даешь товарища Сталина!»

Сталин слегка приподнял голову, насторожился, и когда снова послышались из разных мест зала голоса: «Даешь товарища Сталина!», стремительно направился к трибуне. Теперь он был совсем рядом со мной, и я хорошо видел его, так как он стоял не на трибуне, а около нее.

Он был сильно рассержен. Густые усы его в нервном тике подергивались и лицо его минуту назад невозмутимое и спокойное, исказилось. Отчетливо обозначились на коже следы от перенесенной оспы. Крупный, выразительный нос заострился. Сталин долго стоял молча, а зал внимал этому молчанию, затаив дыхание. Напряженное ожидание показалось таящим в себе что-то грозное, необычайное.

Наконец Сталин сделал шаг и теперь оказался на трибуне.

— Насильно старика заставляете говорить! Вы думаете, мне легко? Вышел, чего попало наболтал и ушел? — Сталин каждое слово отделял большой паузой, дышал с натугой. — Слушал я ваши выступления и не понимал, о чем говорите? Зачем подводите итоги пятилетки? Я уже подвел их в докладе на объединенном пленуме ЦК и ЦКК. Почему топчетесь на одном месте? Не смотрите назад, глядите вперед... Что мы ждем от комсомола на селе? — задал вопрос Сталин и в своей обычной манере начал перечислять наши задачи: во-первых, во-вторых, в-третьих... — машин на селе становится все больше и больше и часто они в плохой сохранности. Надо научиться беречь технику, чтобы каждая машина в любой час могла выполнять свою работу... Часто машин достаточно, а работать на них некому. Кому, как не комсомолу сесть за штурвалы машин. Лучших надо бросить на это... Мало культуры на селе. Клубы, библиотеки, избы-читальни в плохом состоянии. Приведите их в должный порядок... Пусть ключом бьет на селе новая жизнь!

Сталин говорил не больше пятнадцати минут. Тон его голоса не менялся, он звучал, как упрек, как выговор.

— Поменьше болтайте об итогах пятилетки, побольше практических дел — ежечасно, ежедневно... Желаю успехов нашей комсомолки. — Сталин впервые оторвал руку от борта своего пиджака, поднял ее чуть выше головы, потом так же резко вернул ее на прежнее место и неслышными шагами покинул трибуну.

Мы вскочили и долго рукоплескали. По залу разносился голос: «Да здравствует великий вождь советского народа товарищ Сталин!», «Спасибо товарищу Сталину за мудрые указания!», «Ура, товарищу Сталину!»

Когда овации затихли, Александр Косарев сказал краткое, но прочувственное слово благодарности Сталину за его советы, которые, как всегда, важны для комсомола, ведь каждое

указание вождя — это руководство к действию. Комсомол, без сомнения, ответит на речь товарища Сталина горячее, увлеченной работой во имя торжества коммунизма.

Снова овация загрела в золоченом зале. Но Сталин не стал ждать ее окончания. Он что-то сказал Молотову, поднялся из кресла, и они пошли к двери, через которую входили сюда. Едва они скрылись за дверью, Косарев объявил перерыв.

Теперь, спустя многие годы, не так просто со всей точностью передать то ошеломляющее впечатление, которое произвела пятнадцатиминутная речь Сталина, почему-то не попавшая в печать даже в пересказе.

— Коротко и ясно! Без лишних слов! Все наши задачи, как на ладони. И главное, доступны даже малограмотному, — со всех сторон слышались восторженные возгласы.

Прошли пятнадцать минут объявленного перерыва, но звонка, призывавшего в зал, не слышалось. Прошло еще пятнадцать минут. Всех это озадачило. Нас созвали только через час.

— Просим извинить, товарищи, за затянувшийся перерыв, — сказал Косарев. — Заседало бюро ЦК. Мы обсудили ход нашего совещания в свете указаний товарища Сталина. Мы пришли к выводу, что оно проходило неудовлетворительно, прения страдали односторонностью. Заканчивать на этом совещание нельзя. Необходимо преодолеть его изъяны. С этой целью ЦК решил продолжить совещание завтра, а, может быть, и послезавтра, и высказаться по проблемам, поставленным в речи товарища Сталина. Мы уверены, что вы поддержите это предложение.

Никто, естественно, не возражал, и предложение бюро ЦК о продолжении совещания было единодушно принято.

Стоял уже поздний вечер и все кинулись в столовую Владимирского зала. После ужина мы разбились на маленькие группы по принципу землячеств и товарищеских пристрастий...

Шли в гостиницу пешком, не спеша, по улицам Москвы, скудно освещенным старомодными фонарями, с сугробами снега, тщательно уложенного дворниками в белых фартуках. Тогда еще не отжил укоренившийся еще в царское время порядок, когда дворники с наступлением темноты выходили на улицу и маячили возле ворот до полуночи с метлами или лопатами в руках.

Разговаривали мы тихо, и, конечно, о нашем совещании, о Сталине и Молотове, о речи вождя, которая и воодушевляла, и звала вперед, но чем-то она нас всех все-таки задела, оставив в душе горький осадок, который нет-нет, да и прорывался наружу.

— Как вскочил! Прямо, как лев разъяренный! Недаром враги боятся его!

— А говорит по-русски плохо, многие слова не разберешь... А ведь, наверное, потому, что любит свой народ, хотя с русскими прожил всю жизнь.

— Да, сильный характер. Истинно — сталь. А вот Ильич мягче, видать, был. Вспомни-ка его речь на третьем съезде комсомола. Ни гнева, ни упрека. Сплошная душевность...

— Мысль как стрела бьет в цель. И никаких других мнений. Целеустремленность!

За восторгом, который был всеобщим, за пылкими суждениями угадывалось затаенное желание видеть вождя более душевным, менее категоричным, более внимательным.

Последний день совещания, естественно, прошел под знаком восхваления Сталина, его указаний, которые так многогранно, так конкретно осветили наш дальнейший путь. Отдельные товарищи, выступавшие повторно, осуждали свои первоначальные речи, считая их мало аргументированными, не совпадавшими с указаниями вождя. Когда самокритики не хватало, из президиума прерывали ораторов, напоминали, что собрались мы в момент по-

своему исторический,— товарищ Сталин уделил комсомолу повышенное внимание и наш долг ответить на его отеческую заботу достойным образом.

Итоги совещания подвел Александр Косарев. Он призвал весь актив приступить к практической работе без раскочки и промедления. И делегаты совещания разъехались из Москвы немедленно, с первыми поездами, преисполненные решимости работать не покладая рук...

Едва в Новосибирске мы вылезли из поезда, нас окружила толпа комсомольских работников, собранных со всего края. Все поехали в крайком, и там все мы, делегаты совещания, до полуночи рассказывали о Москве, о речи Сталина, о задачах, которые предстоит решать комсомолу Западной Сибири. Упомяну попутно, что тогда в состав Западно-Сибирского края входили нынешние Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Хакасская автономная область, Алтайский край, Горно-Алтайская автономная область и западная часть Красноярского края.

Через неделю-другую дело закрутилось на полную мощь. В села из городов двинулись — кто на поездах, кто пешком, кто на попутных подводах и машинах — комсомольские агитколонны, сотни докладчиков-агитаторов.

Из редакции «Большевистской смены» выехали на места лучшие корреспонденты. Выпускать газету остался минимум сотрудников. Тема сельской жизни превратилась на полосах газеты в основную, занявшую три четверти газетной площади.

Выехал в районы и я. Мой путь лежал в Назарово, Минусинск, Курагино. Тогда впервые мне удалось побывать в Шушенском.

Дом, где в ссылке жили Ленин и Крупская, все подворье, улицу — всё сохраняли в неприкосновенности. Может быть, потому что подлинность не пережила еще реставрации — все это производило сильное впечатление. С моим другом Николаем Драчевым, работавшим очерки-

стом «Большевистской смены» и неоднократно ездившим вместе со мной по Западной Сибири, мы осмотрели дом Ленина и обошли окрестности Шушенского, любимые Лениным места прогулок и охоты.

Выйдя за село, где-нибудь на взлобке мы останавливались и, осматривая поля, леса, небо, проселочные дороги и тропы, рассуждали вслух с искренним волнением:

— С ума можно сойти! Вот здесь ходил Ленин, вот здесь думал о России, вот здесь прозревал ее новый облик.

И все, что лежало в сумраке весеннего тумана, клубившегося от не сошедшего еще снега, казалось каким-то обворожительно загадочным, способным поведать какую-то неизведанную тайну, идущую через пространство от самого Ленина. Мы были романтики, мечтатели, и Ленин для нас был наивысшим воплощением наших помыслов и надежд...

В Минусинске мы попали на съезд партизан. Минуса, как в просторечии называют этот край сибиряки,— южный угол Западной Сибири,— была известна многими немеркнущими событиями. Тут в свое время процветало передовое земледелие. Минусинское зерно славилось на всю Сибирь. Здесь успешно осваивали крестьяне культурное садоводство. Яблоки, арбузы, сливы, самые диковинные ягоды заполняли минусинский рынок.

Славились минусинские пределы и золотым промыслом. Первой столицей сибирских золотопромышленников как раз и был Минусинск.

Через минусинскую ссылку прошли многие революционеры, включая Ленина. И, несмотря на строжайшие запреты и ограничения в общении с местным населением, они оставили по себе неизгладимую и добрую память как страстные поборники просвещения народа.

Несомненно, что не без влияния их идей и их примера среди местных жителей появлялись люди, которые создавали на собственные средства частные школы, библиоте-

ки, агрокурсы, закупая за границей сельскохозяйственные машины, внедряя новые технологии и агропромы.

В Минусинске еще в дореволюционные годы был создан и успешно работал музей Николая Михайловича Мартыанова, одного из исследователей Сибири. И теперь он остается замечательным очагом культуры, к которому тянутся не только научные работники, но и все интересующиеся историей края.

Вернусь, однако, к съезду, или, точнее, сходу, партизан. Это было собрание товарищей по оружию, соратников по переустройству общественного уклада жизни. Вначале заслушали доклад секретаря райкома партии о текущем моменте. Потом выступали бывшие партизаны, вспоминали свое боевое прошлое, рассказывали об участии в коллективизации и колхозном строительстве.

Оказалось, что многие из них занимали теперь должности председателей колхозов, секретарей партийных ячеек, бригадиров, звеньеводов и т.д.

Собрание получилось веселым, чуть ли не каждый выступающий рассказывал что-то потешное из боевого прошлого.

На сходе присутствовал почетный гость — сибирский писатель Петр Поликарпович Петров, бывший партизан и редактор партизанской газеты «Серп и молот». Это имя в то время было широко известно в Сибири, да и за ее пределами. Петров был автором книг, о которых весьма одобрительно высказывался Максим Горький. Его поэма «Партизаны», насколько мне помнится, напечатана в журнале «Сибирские огни», а потом вышла отдельной книжкой. Петров был внешне крепок и скуп на слова. И, честно говоря, сам он произвел на меня куда большее впечатление, чем его речь.

После его выступления районные власти преподнесли партизанам подарки. Эта часть заседания незабываема. Подарки были копеечные, но смысл самой акции оттого

не потускнел. Бородатые и безбородые мужики, задубевшие на тяжелой работе, вдруг теряли свой мужественный вид, выходя на сцену, смущались, не зная, куда деть свои могучие руки, и кланялись в зал земным поклоном.

Зачитывал список председатель райисполкома, он же подавал и праздничные узелки.

— Хлыстов Иван — сатин на рубаху.

— Копылев Парфен — брезентовые ботинки.

— Ситников Семен — «чертову кожу» на шаровары.

— Комаров Варсонофий — пара белья из бумазеи.

Подарки получили все поголовно — человек сорок.

Самый дорогой подарок был преподнесен почетному гостю — Петру Поликарповичу Петрову: охотничий кинжал с костяной рукояткой. По стародавнему обычаю тут же председатель потребовал от Петрова уплатить за кинжал символический гривенник, поскольку дарить ножи считалось предосудительно.

Сходка окончилась, и мужики поспешили на базарную площадь, где у прясел их ждали кони под седлами. И никто из нас — ни партизаны славного командира Щетинкина, ни мы, комсомольские журналисты — не знал, что для партизан эта сходка была в их жизни последней. Через два-три года все они под различными предлогами были арестованы и уничтожены как «враги народа», одни без следствия и суда, другие в долголетних мытарствах по тюрьмам и лагерям.

Не одну неделю провели мы с Драчевым в южных районах края. Исписывали блокноты всюду, где бывали: на полях и в кузнях, на вечеринках молодежи в убогих избах-читальнях и в сельсоветах, в смутной обстановке административного нажима завершавшейся коллективизации, где разрабатывалась стратегия очищения колхозов от кулацко-белогвардейских элементов, перешедших, как писали тогда в газетах, «... к тактике тихой сапы — вредительства под покровом доброжелательности». И еще

мы выступали, где только это было возможно. Но сразу опровергну предположение, будто мы, уподобившись чеховскому оратору, готовы были произносить любые речи по любому поводу. Нет, публичное выступление в те годы расценивалось как общественный долг. Не стоит забывать, что в стране тогда разворачивалась культурная революция, и ее пафос захватывал широкие массы людей — и тех, кто учил, и тех, кто учился. Каждый интеллигент не сомневался: если ты больше знаешь, чем другие, то обязан поделиться своими знаниями, так как знания не твой личный капитал, а общественный. И потому обычным делом тогда были беседы, доклады, лекции, с которыми выступали тысячи учителей, агрономов, врачей, партийных, советских и комсомольских работников.

Скорее вызвало бы недоумение, если бы, приехав из краевого центра, ты не выступил в школе, клубе или просто на улице на тему, которая занимала тебя самого. Мы с Николаем чаще всего выступали вдвоем: я по текущим событиям внутренней и международной жизни, он — о лучших книгах советских писателей.

Как же это обогащало нашу общую жизнь, какая же это была замечательная традиция! К сожалению, она не удержалась, померкла...

За время моей поездки по районам края в редакции произошли изменения, которые я уловил, встретившись с моим заместителем.

— Георгий, тебе уже три раза звонили из краевой комиссии по чистке партии.

— А что произошло?

— Ну, мне всего не сказали... Но из намеков понял, что в наш редакционный аппарат пролезли чуждые элементы.

Я отправился в комиссию по чистке партии. Кампания еще не началась, но подготовка к ней охватила уже весь край.

Комиссия размещалась в помещении партколлегии крайкома партии и уполномоченного комиссии советского контроля по Западно-Сибирскому краю. Ответственный работник комиссии был из числа приезжих товарищей из Москвы. Он долго расспрашивал о работе редакции, о состоянии газеты, а затем попросил меня охарактеризовать сотрудников редакции поименно.

Я удивился, сказав, что это займет немало времени, так как в редакции работает несколько десятков человек.

— А нам торопиться некуда, — утешил он меня.

— Тогда готов рассказать о каждом, — согласился я.

— Кстати, посмотрим, насколько серьезно редактор относится к своим кадрам, — тоном, далеким от доверительного, заметил товарищ из Москвы.

Я хорошо знал людей, с которыми работал, но поручиться, что я знаю их биографии, что называется «до десятого колена», едва ли мог.

В редакционной работе каждый из сотрудников меня интересовал прежде всего своими профессиональными качествами, способностью выполнять возложенные на него обязанности и своей инициативностью.

И характеристики сотрудников я и начал именно с этих позиций. Вероятно, не менее часа, переходя от одной фамилии к другой, говорил я. А тот слушал не перебивая.

Изредка загибал край согнутого вдвое листка и что-то наскоро отмечал остро заточенным карандашом.

— Вот, пожалуй, и все,— сказал я, окончив беглую характеристику своих товарищей по работе. Последним в моем обзоре был фотокорреспондент, человек далеко не комсомольского возраста, но владевший своим делом исключительно хорошо.

— Так у тебя не редакция, а эдакая компания ангелов! — усмехнулся ответственный товарищ.

Я промолчал. Услышанное замечание никак не совпадало с моей характеристикой. При всем благорасположении к своим сотрудникам я говорил, и довольно резко, и о многих недостатках: один с ленцой и не любит выезжать в районы, второй не всегда тщателен в работе, за что имеет взыскание, этот любит волоочиться за хорошенькими девчатами. Но при всем этом мы старательно воспитываем и прививаем лучшие качества работников большевистской печати.

— Боевитости тебе не хватает! Вот ты до небес возносил своего фотокорреспондента, а известно ли тебе, что он бывший белый офицер, колчаковец? Да его к комсомольской газете на три версты нельзя подпускать!

— О том, что он бывший белый мне известно...

— Тогда, что ж ты тянешь? Почему не гонишь в шею этого белогвардейского недобитка?! Или ждешь, когда он подложит газете какую-нибудь антисоветскую свинью?! — голос приезжего наливался силой. На согнутом листке просвечивались еще несколько фамилий.

— Сложное дело с фотокорреспондентом... — попытался я начать свои объяснения.

— Чем же оно сложное? Сознайся, что трусишь ударить по классовому врагу! — приезжий товарищ перешел откровенно на крик. Еще миг и он ударит кулаком по столу.

— Калинин дал ему путевку,— сказал я.

— Какой Калинин? Что ты городишь чепуху?

— Михаил Иванович Калинин — наш всесоюзный староста. Дело в том, что в его первый приезд в Новониколаевск наш фотокорреспондент сделал фотоотчет митинга на открытии электростанции. Снимки очень понравились Калинин, и он сказал: «Передайте спасибо фотографу, он мастер своего дела и привлеките его к газете». Мы привлекли. С тех пор он печатается во всех газетах и журналах Сибири.

— Калинин же не знал, что он белый офицер...

— Ему сказали...

— И что?

— Он сказал: «Но ведь теперь белых нет. А кроме того, он перешел к красным добровольно».

Фамилия Калинина явно выбила приезжего из колеи. Он стал красным как кирпич, промычал что-то невнятное, но отступать не собирался.

— А вот еще номер! Ты держишь корреспондентом некую Черную. Она исключена из ленинградского университета, как дочь пепеляевского офицера. И еще вот тут заявление есть, будто ты с ней разводишь шуры-муры. Достойно ли это коммуниста?

— Она рекомендована писателями... Приходили Глеб Пушкарев, Вивиан Итин. А это известные в литературе люди. Ей только двадцать лет, а она уже автор книги рассказов...

— Эка невидаль — книжка! Да посади нас с тобой на хорошее питание, освободи от ответственной работы, и мы намараем что-нибудь похожее. Ты линию проводи и поглядывай вокруг зорче! У тебя-то самого кто отец? Где он? Слухи тут разные ходят...

— Отец мой там же, где и был всегда, в деревне. В колхозе он с двадцать восьмого года. А в двадцать первом году был председателем сельскохозяйственной и промысловой артели «Дружба» на Васюгане.

— Ну, ты не больно-то родителем похваляйся! Он у тебя старший унтер-офицер... Или не знаешь об этом?

— Экий великий чин, унтер-офицер! Он был стрелок отменный и грамотный... Вот и навесили ему лычки. И как-никак шесть лет послужил Отечеству на Дальнем Востоке.

— Царю, а не Отечеству! Царю! Не забывай об этом. И на чистке не вздумай скрыть, что отец твой царю служил. Настоящие люди на каторге гнили, а не лычки выслуживали. Повторяю, не вздумай скрывать!

— Ради чего?

— Молодой ты, а уже при такой должности. Поглядывай, не попадись на удочку чуждых антисоветских элементов. Всерьез тебе говорю. Иди!

Я попрощался, но он даже не взглянул на меня.

Шел я в редакцию поникший. Было очевидно, что в нашу жизнь врывается что-то совсем иное и не похожее на прежние взаимоотношения с товарищами по партии. Вспомнились слова старого большевика: «Молодость не порок. Годы и знания — дело наживное. Не робей! Поможем!» Все это было совсем не похоже на то, что услышал я сейчас.

Не желая выдавать своего состояния товарищам, я не пошел в редакцию, а долго бродил по безлюдным переулкам Новосибирска. Мало-помалу я взял себя в руки, да и тянуть дальше было нельзя — на столе меня ожидали полосы завтрашнего номера газеты.

Недели через две вызвали в Москву. В телеграмме кратко было сказано: «Прибыть редактору с полным отчетом о состоянии газеты. Предстоит важное мероприятие в Цемаоле и в Цемапарте».

Я сел в проходящий из Владивостока поезд. Из Хабаровска в Москву ехал по такому же вызову редактор дальневосточной комсомольской газеты. Встретились мы и обнялись. Четверо суток в пути позволили о многом переговорить.

Информация у моего коллеги была несколько полнее: вначале разговор с нами — а вызывались все редакторы газет восточного направления страны — будет проведен в Цемаоле, а потом нас примут в ЦК партии. Все это, конечно, озадачивало и волновало.

В ЦК комсомола наша небольшая группа редакторов (Уралобком, Запсибкрайком, Востоксбкрайком, Далькрайком) встречалась с работниками сектора печати и отделов ЦК. Потом с нами беседовали секретари ЦК. С первых же минут вызвал недоумение их тон. Причем на всех уровнях он был одинаковым — нервным, сверх меры требовательным, безапелляционным.

Меньше всего слушали нас и больше говорили сами, а точнее «снимали стружку», упрекали, подозревали, откровенно грозили. Не составил исключения и сам Косарев, который заметно изменился в худшую сторону. Раньше я знал его как человека острого, азартного в работе, неутомимого, изобретательного и вместе с тем внимательного к другим, предельно товарищеского, всегда веселого, даже как-то по-мальчишески озорного. Теперь же в нем преобладали резкость, грубоватость, нетерпимость. Мы понимали, что этот стиль отражает перемены, происходящие в «Большом доме», прежде всего у самого хозяина, но говорить об этом было не принято.

А сказывалось это буквально во всем. Вот позвали меня в сектор печати, и работники его с пристрастием принялись пенять, что я как редактор, совершенно не занимаюсь

вопросами жизни рабочей молодежи. Причем каждый из них старался быть как можно язвительнее. Один из работников, зная, что я происхожу из охотничьей семьи, острил: «Ты, может быть, скоро все четыре полосы будешь отдавать охотникам и рыбакам. Говорят, они великие мастера на всякие побасенки!»

Наш опыт выездной редакции на строительстве Кузнецкого металлургического комбината ни у кого интереса не вызвал. Это безразличие к местному опыту породило в ответ недоверие к установкам, которые высказывались в тоне административных распоряжений.

После всего происходившего в ЦК комсомола, в довольно мрачном настроении шли мы на собеседование в отдел печати ЦК партии. Уж если в своем ЦК нам целых два дня давали «прикурить», то тут, скорее всего, разговор будет еще круче.

... Мы вошли в продолговатую, сравнительно просторную комнату, и глазам своим не поверили. Перед нами, мирно беседуя между собой, сидело целое созвездие старых большевиков, имена которых были легендарными. Мы их знали по портретам, а сейчас они предстали вживую: Елена Стасова, Емельян Ярославский, Пантелеймон Лепешинский, Арон Сольц. Тут же сидели еще несколько пожилых людей, которые нам были неизвестны, но сам вид их, и строгий, и одновременно приветливый, рождал безотчетное расположение.

Что побудило этих людей прийти сюда — не знаю. Не думаю, что привлекло их только лишь желание побеседовать с нами. Вероятно, проходило какое-то совещание в коллегии по печати, а собеседование с комсомольскими редакторами было одним из пунктов этого совещания. Однако само наше присутствие рядом со старейшими деятелями большевистской партии нам безумно польстило.

— Поговорим сегодня о делах комсомольской печати. Молодежные газеты на местах делают огромное полезное

дело в интересах партии, но работают они в трудных условиях. Им необходимо помочь, но спокойно, без нажима, — сказал человек, сидевший во главе стола. Это был заведующий отделом печати ЦК партии, старый большевик Хавинсон, многие годы руководивший текущей работой партийной печати.

Нам, редакторам, дали для своих сообщений по пять минут, но зато нас расспрашивали долго, обстоятельно, интересуясь всеми подробностями работы газет.

Часа через полтора этого разговора, носившего характер товарищеской беседы, Хавинсон подвел краткие итоги встречи:

— Хорошее впечатление произвели на меня редакторы наших молодежных газет, — сказал он, — товарищи, знающие свои задачи, толковые, озабоченные улучшением дела. (Тут старые большевики закивали головами, поддерживали мнение Хавинсона общим гулом).

— Давайте поможем им и бумагой, и деньгами, и полиграфическим оборудованием.

Так закончилось это собеседование. Мы вышли из здания ЦК, не чуя под собой ног. Здесь тон разговора был совсем иной, нежели в Цекамоле. Тогда нам было невдомек, что среди этих людей, воспитанных в ленинском духе, новый сталинский стиль прививался очень туго.

Возвращался я в Сибирь не с пустыми руками. «Большевистская смена» получила ощутимую прибавку: пять тысяч экземпляров дополнительного тиража, сто двадцать рублей гонорара на номер (дополнительно!), комплект наборных касс и плоскостанок для выезда газеты в сельскую местность.

Парторганизация у нас насчитывала свыше двадцати членов и кандидатов в члены партии. Комиссию по чистке возглавлял доцент сельскохозяйственного института Лысенко, человек, хорошо понимавший существо наших забот, своеобразие нашей работы и, конечно, учитывающий

особенность состава нашей парторганизации. Это были молодые коммунисты, и самый старший из нас состоял в партии не более пяти лет. Однако чистка в нашей редакционной партъячейке заняла целых три вечера.

Членами комиссии были два рабочих новосибирских заводов. Наша работа была для них делом далеким, и потому они по преимуществу молчали, всецело полагаясь на опыт председателя.

К полуночи третьего заседания комиссия по чистке объявила результаты своей работы. Оценивая положительным образом состояние партийной организации и всю работу газеты, комиссия высказала ряд пожеланий отдельным коммунистам, относящихся к их поведению и практической работе. Ответственный редактор в этом перечне не был обойден, но так называемые «сигналы» о засорении редакции классово-чуждыми элементами были отвергнуты как несостоятельные. И комиссия сочла возможным оставить всех членов в рядах партии, что являлось важным показателем морально-политической зрелости нашего коллектива.

Однако тысячи коммунистов края были тогда исключены из партии, и прежде всего под предлогом связей с классово-чуждыми элементами. Это был самый распространенный повод, который применялся запросто и походя. У кого-то отец служил в царской армии, у кого-то мать оказалась выходцем из семьи разорившегося дворянина или мелкого чиновника, и этого было достаточно для исключения из партии.

Был случай прямо-таки анекдотический. Одного моего товарища исключили за связь с собственным отцом, который перед Первой мировой войной служил контролером акцизного управления в городе Иркутске.

Как известно, на акцизных чиновников возлагался контроль за неукоснительным исполнением правил торговли товарами, отмеченными особыми наклейками. Ко-

миссии по чистке сама должность — контролер акцизного управления! — показалась подозрительной. И ее отнесли к жандармскому ведомству. Было ясно с первых минут — исключить как сына чиновника жандармской императорской службы.

Подобные случаи впоследствии исправлялись, но можно представить себе, сколько приходилось пережить и отцам, и детям.

А у нас в редакции после чистки происходили странные вещи. Чистка вроде бы прошла успешно, и она должна была еще больше сплотить коммунистов, но этого не произошло. Нас стали донимать различными проверками, «сигналы» о засорении редакции чуждыми элементами сыпались один за другим. Я едва успевал писать объяснения то в комиссию по чистке, то в крайком партии, то в советский контроль. Все «сигналы» сдавали в архив, но коллективу от этого было не легче. Грязь, которой нас старались испачкать, смывалась не сразу. Наконец все объяснилось. «Сигналы» строчил наш же сотрудник, претендовавший на более высокую должность и на более заметное место на полосах газеты. Ему способствовала одна особа, у которой были претензии к двум нашим товарищам по линии неразделенной любви.

Массовые чистки имели существенные недостатки, о которых не говорилось, а если и говорилось, то вскользь как о чем-то незначительном. Но именно чистки породили сучье племя клеветников, которое с особенной яростью проявило себя в разгар массовых репрессий 1935–1939 годов.

Ответственности за свои поступки клеветники не опасались, так как ее просто не существовало. Напротив, эти люди числились в активе, участвовали в рейдах РКИС (рабоче-крестьянская инспекция) и группах комсомольской «легкой кавалерии».

Живы еще те, кто помнит, что происходило тогда на партсобраниях, где «активисты» открыто похвалялись доносами, отправленными в НКВД, и обличали тех, кто еще не написал их, требуя наказания коммунистов, проявляющих не только политическую близорукость, но тем самым пособствующих врагам...

... Мне в те годы было всего-то двадцать с небольшим, и хотя долг коммуниста был для меня не пустым словом, но и человеческие страсти не обошли меня стороной.

Долгое время мои отношения с девушками складывались неопределенно, а точнее, никак не складывались, так как я относился к ним ко всем, скажем так, приветливо. Настоящая любовь при таких отношениях невозможна. Ведь она всегда ставит перед выбором одного среди многих.

Когда я работал в крайкоме комсомола, вместе со мной на разных должностях работали тринадцать девушек. Все, кроме одной, были незамужние, но уже, как говорится, в том возрасте, когда вопрос о семье становится доминирующим. Жених я был тогда ненадежный, ни морально, ни житейски не был готов стать главой семьи. При моем увлечении общественной работой, чтением литературы, писанием доморощенных философских трактатов супружество никак не совмещалось с моим образом жизни. Поэтому и девушки относились ко мне по-приятельски, так же, как и я к ним.

Скажу, однако, что одна из них очень мне нравилась, я чувствовал необъяснимое волнение и радость, когда мы оказывались с ней вместе. Понимал я, что и она выделяла меня среди других парней, которых было достаточно в крайкоме комсомола. Но она-то как раз и была замужней, да к тому же женой знакомого парня, служившего тогда на Тихом океане.

Стрелка наших сложных отношений, между тем, не стояла на месте, то и дело дрожала и колебалась. Пока дело ограничивалось лишь игрой слов. Но что-то подспудно надвигалось на нас, и вот-вот мог настать момент, когда запретная черта была бы перейдена.

Однажды, подкараулив, когда я был в кабинете один, она подошла, взяла меня за руки и, глядя в глаза, сказала:

— Георгий, встретились мы слишком поздно. Необратимо поздно. И скажу тебе правду: если я изменю мужу, завтра же повешусь. Ты понял? Повешусь! Меня хватит на это...

И вскоре она уехала, став секретарем райкома в самом дальнем северном районе нашего края.

А я на ее примере, вероятно, впервые всерьез понял, что играть в любовь недопустимо — слишком серьезными могут быть последствия такой игры. После этого я перестал, как мы говорили тогда, «заливать арапа» девчонкам. И позднее я понял, что нередко увлечение, которое принимается за любовь, обманчиво, и нужно сто раз подумать и проверить себя, чтобы не произошло подмены понятий, чтобы не испортить своей жизни и не исковеркать жизни чужой. Но понимание этого еще не гарантия, что с тобой подобного не произойдет. Пробыться к пониманию настоящего чувства не так просто. Правда, иногда союзником истинности чувства является сама жизнь. Так случилось и со мной. Когда та девушка уехала в далекий северный район, жизнь сурово и, пожалуй, даже грубо предложила мне иной вариант.

Моя новая героиня была литератором, причем уже профессионально пишущим. Ее образованность поразила меня. Множество стихов — и не только русских! — она читала наизусть. Отлично знала историю России. Свободно рассуждала об исторических событиях Древней Греции, Рима, Византии. Даже такая область, как история религий, в особенности христианства, составляла предмет ее интересов. Чем больше мы общались, тем больше моя сверстница открывала передо мной огромный и увлекательный мир. Когда же она успела все это узнать? Мне самому каждая капелька знаний доставалась с большим трудом. В чем же дело? В природной одаренности? В особой системе работы над собой, как мы говорили тогда? Конечно. Но было у нее еще одно преимущество. Она воспитывалась в семье педагогов, ее окружали великолепно образованные люди. «Эх, мне бы такие условия, и я бы тоже кое-чего уже достиг», — проносилось у меня в уме. Я откровенно завидовал моей новой подруге.

Но не во всем она одерживала верх. Я, например, гораздо лучше ее знал труды Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, мне куда больше были знакомы труды наших

и зарубежных естествоиспытателей. А уж что касается современной общественной жизни и знания ее проблем, то в этом я однозначно превосходил ее.

— А почему ты не в комсомоле и не в партии? — спросил я ее однажды.

— И никогда не буду, — ответила она с предельной откровенностью. — И вовсе не потому, что не разделяю современных идей. Просто я не общественница. Я теряюсь, когда передо мной много людей. Да что там людей, даже детей! Многолюдье угнетает меня.

Ничего подобного не могла бы сказать мне ни одна из знакомых мне девушек. Все они были комсомолками, активность бурлила в них, и их биографии складывались в духе прогрессивных представлений о молодежи тех лет.

И это тревожило меня, но я предполагал, что общественная активность к ней придет, все, мол, еще впереди.

Между тем наши встречи и беседы, порой затягивались до полуночи. Несмотря на зимнюю стужу и снегопады, мы исходили пешком Новосибирск из конца в конец. И я однажды обратил внимание, что отмечаю для себя ее манеру говорить и смеяться, ее жесты, черты ее нежного и утонченного лица, внимательный взгляд карих глаз. «Господи, да какое же это чудное создание! Как же я раньше не замечал этого!» — взволнованный своим открытием думал я.

Мои комсомольские подруги прокомментировали происходящее совершенно определенно:

— Э-э-э, влип ты, Георгий! Красивая, зараза!

В одной из многочисленных командировок по районам, я подхватил сыпной тиф. Свалился без памяти и с температурой за сорок. И очнулся лишь в больнице профессора Бейгеля. Первое, что увидел — ее настороженные глаза.

— Ну и напугал же ты нас, — сказала она, устало улыбаясь.

Профессор Бейгель, на очередном обходе, сказал мне:

— Благодарю, дружок, свою сестренку! Подняла на ноги весь крайздрав, дошла аж до самого профессора Трак-

мана. Я не мог пропустить ее в тифозный корпус. Есть правила, не мной писанные. А тут пришлось пропустить, правда, подписку взял, что предупреждена об опасности. Семь суток просидела возле тебя, караулила кризис, поила с ложечки водой. А еще поблагодари своих родителей — хорошо тебя задумали. Сердце твое выдержало предельную нагрузку, не сдало. А сестренка твоя — бой-девка.

Сестренка! А что еще могла она сказать, чтобы быть допущенной в больницу? Жена? Она не была женой. Невеста? Между нами пока никаких определенных договоренностей не было. Зарождавшиеся отношения были неясными, смутными, и жизнь могла внезапно повернуть все самым неожиданным образом. А статус сестренки вполне подходил...

Ее поступок, а в моем понимании — почти подвиг, еще больше сблизил нас. Мои комсомольские подружки прокомментировали ситуацию однозначно:

— Сильный характер! Беспартийная, а ведь отважная! Круглым идиотом будем тебя считать, если упустишь.

И я не упустил. И ни разу, никогда не пожалел об этом.

... Едва я оправился от тифа, как навалились неотложные дела. Приближалось пятидесятилетие сибирского комсомола. Бюро крайкома утвердило масштабный план подготовки празднования юбилея. Всем составом бюро крайкома мы отправились к Эйхе.

— Учтите, ребята, события складываются тревожные. Едва ли нам удастся избежать столкновения с мировым капитализмом. Мы пока одни, и нам будет нелегко. Воспитание героизма, коммунистической убежденности, стойкости — вот, что главное сейчас. Используйте пятидесятилетнюю годовщину сибирского комсомола в этих целях. Покажите народу своих героев, которые были и которые есть сегодня.

Еще раз говорю: империализм пытается сбросить нас с палубы истории. И товарищ Сталин предупреждает: сроки у нас ограниченные, нет ни одного лишнего дня...

Мы понимали, что излагает он не только свой личный взгляд, а общую линию партии.

По решению бюро крайкома мы с Володией Шунько сели за разработку тезисов для докладчиков и лекторов о пятидесятилетней годовщине Сибирского комсомола. Частично, в переработанном виде мы напечатали в «Большевистской смене» цикл статей по истории нашей организации. А тезисы целиком были напечатаны отдельной брошюрой.

Помогали нам художники и писатели Западной Сибири: публиковали новые стихи и очерки о подвигах комсомольцев, проводили выставки художников и фотовыставки. Не обошлось, конечно, без кустарщины и упрощенчества, но делалось все это инициативно, горячо, без какого-либо нажима.

Составной частью нашего юбилейного года было проведение очередного призыва в ряды Красной Армии. В те годы призыв проводился как общественно-политическая кампания общенародного значения. Молодежь шла служить в армию с охотой. Проводы призывников и в селах, и в городах превращались в праздники, в которых участвовали и взрослые, и молодежь, и дети.

Командиры и политработники также были заинтересованы в прочных связях с «гражданкой» и потому сами шли на предприятия, в колхозы, совхозы, в учебные заведения, особенно в школы, предлагая свою помощь. Вечера смычки с Красной Армией были тогда весьма популярны. И самой популярной их формой были соревнования коллективов художественной самодеятельности.

А комсомол Западной Сибири шефствовал над тихоокеанскими моряками.

То есть человек в шинели и бушлате был нам близок. Мы ни на минуту не забывали о ребятах, ушедших на службу, посылали им коллективные письма, а в ответ получали письма от них, зачитывая эти бесхитростные послания на открытых комсомольских собраниях.

... В тот день я встал на рассвете. Надел двубортный шевиотовый костюм, ботинки с круглым гамбургским носком, суконную тужурку. На остриженную наголо голову натянул кепку с длинным козырьком, как у жокея. Я знал, что как только окажусь в своей части, мне выдадут военную форму. Но такова уж была традиция — идти на призыв как на праздник, и потому, отправляясь на призывной пункт, надевали лучшее. И не мог же я, член бюро краевого комитета комсомола, изменить традиции!

Моя юная жена понимала, что мы расстаемся надолго. Четыре года разлуки — и всего лишь одна побывка дома! — достаточно серьезное испытание. Мы договорились, что она проводит меня только до ворот призывного пункта, а во двор не пойдет, чтобы не надирать сердце слезами матерей, жен, невест, которые были здесь до последней минуты формирования команд.

... Я вошел в помещение, где работала призывная комиссия, в которую входили сотрудники военкомата, представители общественных организаций и воинских частей, приехавшие за очередным пополнением. Тут же работала и медицинская комиссия, производившая последний медосмотр призывников. Обе комиссии сидели за длинными столами, одна против другой, чтобы при необходимости вести переговоры.

С призывной повесткой в руках я подошел к регистрационному столу, оставил на попечении двух дежурных красноармейцев мешок с бельем и провизией, тужурку и кепку и прошел в раздевалку, откуда вышел, как говорится, в чем мать родила. Вначале я подошел к призывной комиссии (она считалась основной), назвал свою фамилию.

— Где бы хотели служить? — спросил меня военком, сидевший в середине у стола.

— Я и прежде заявлял, и теперь настаиваю — отправьте меня на Тихоокеанский флот.

— Ну что же, характеристика у него хорошая, подходит на флот. Посмотрим, что скажут врачи. Для флотских

у них требования повышенные, — сказал военком и кивнул кому-то из медиков головой.

Ко мне подошли сразу три врача и начали постукивать пальцами по груди и спине, потом приложили стетоскопы и стали слушать.

— У него шумы в легких, — сказал врач с длинными как у Тараса Бульбы усами. — Послушайте-ка его, Иван Кондратьевич.

Врач, обмерявший мою грудь, хмыкнул:

— И сам он какой-то тощий. Таких мы не только на корабли, но и на берег не берем.

Я понял, что Иван Кондратьевич — флотский врач. И уж если кто меня завалит, то именно он.

— На свою грудь не жалуюсь, — попробовал я уменьшить впечатление от слов флотского врача. Но рассчитал я свой ход неверно.

— Мы в ваших советах не нуждаемся, — резко сказал врач и принялся старательно прослушивать меня: — Так! Дышите глубже! Так! Задержите дыхание. Еще раз! Еще! Глубже! — он отошел от меня на два шага и смерил взглядом:

— На флот решительно не подходит! У него к тому же сердечная аритмия.

— Он перенес сыпной тиф, — уточнил Тарас Бульба, заглядывая в медицинскую карту.

Воцарилось молчание. Члены призывной и медицинской комиссий, поглядывали друг на друга.

— Прошу извинить, но не могу поддержать вашу просьбу о морфлоте, — сказал военком, довольно часто бывавший на наших комсомольских встречах и неплохо знавший меня. Помолчав, добавил:

— Пойдете в инженерные войска. Будете сапером. Тоже нужное дело.

— Команда 11/13. Построение в 12.00, на плацу, — сказал один из членов призывной комиссии со шпалой в петлице.

Я повторил приказание слово в слово и ушел одеваться, а комиссия стала обсуждать судьбу следующего призывника.

Через час-другой обширный двор призывного пункта начал пустеть. Команда за командой выстраивались в одну линию и после переключки уходили на вокзал, чтобы следовать в свои гарнизоны.

Ровно в полдень собралась и наша команда будущих саперов. Но вот что странно — в ней было всего семь парней. Ну семь так семь, подумали мы. Однако, подошедший к нам лейтенант с черными петлицами и эмблемой инженерных войск на них, сказал:

— Команда 11/13, разойтись по домам и ждать дополнительного извещения.

— А в чем дело? Что происходит? — посыпались вопросы будущих саперов.

— Вероятно, произошел недокомплект команды по разверстке, спущенной вышестоящим штабом, а, может быть, часть, в которую вам надлежит прибыть, находится в состоянии передислокации. А вообще-то, товарищи бойцы, в армии приказы не обсуждают, а выполняют. Делать, как сказано. Ра-зой-тись! — протяжно скомандовал лейтенант.

На такой поворот дела я не рассчитывал. Я шел домой, в общежитие крайкома партии, где мне после женитьбы предоставили девятиметровую комнату, размышляя — к лучшему или худшему повертывает жизнь...

Осторожно подойдя к окну, я встал на выступ облупившегося кирпичного фундамента и увидел свою жену. Она ничком лежала на кровати, обхватив голову руками. Возможно, она плакала по поводу нашей разлуки, а может быть, просто дремала после бессонной ночи.

Я постучал в окно. Она вскинула голову. Лицо ее было зареванное. Увы, тогда еще она не знала, что впереди ее ожидают разлуки куда драматичнее, чем эта, и к тому же не состоявшаяся...

А сапером я стал почти через год и, можно сказать, этот рубеж был началом той самой части моего бытия, которую я обозначаю как самую трудную в первой половине моей жизни...

От должности ответственного редактора «Большевистской смены» меня еще не освободили, и я вышел на работу. И покатила редакторская колесница дальше...

А 1 декабря в Смольном выстрелом был убит Сергей Миронович Киров. Я хорошо, во всех подробностях помню эти дни. Мы в редакции восприняли это событие, как трагедию масштаба громадного, неслыханного после смерти Ленина. Что-то зловеще неотвратимое угадывалось в происшедшем. Все были убеждены, что на этом трагедия не остановится, что последуют новые события, которые затронут всех нас.

Я атеист, но верю в народную интуицию, предугадывающую грозные потрясения — войны, катастрофы, разгул стихии и т.д. Остается великой тайной природа этих предчувствий, проникновения в зародыши предстоящих событий, но факт этот остается неопровержимым — народная мысль опережает конкретный опыт.

Выстрел в Кирова оценивался всеми как преддверие новых бед, хотя уже летом 1934 года прокатилась волна арестов, которые, кстати, по каким-то совершенно неуловимым признакам прогнозировали заранее.

Были вновь арестованы некогда прощенные советской властью царские генералы и офицеры, активные участники партийных оппозиций. Обострялись подозрения к спецам различного профиля. У нас это коснулось прежде всего Западно-Сибирской плановой комиссии и ее подразделений в Кузбассе, где было много специалистов с «подмоченной» репутацией. Весьма настораживало и решение проведения поголовной проверки партдокументов. Ведь только что прошла глобальная чистка партии. Так зачем же снова? Или мало вычистили? Или партбилетов лиши-

лись совсем не те? Но за этими вопросами просматривался куда более существенный вопрос: что будет дальше?

Ответ на эти вопросы дали похороны Кирова и передовые статьи «Правды», которые мы публиковали у себя в газете. ТАСС передавало их по телеграфу (более оперативной связи тогда не было) с категорической припиской «Под ответственность редакторов: публиковать в очередном номере, на видном месте, без сокращений!»

Прежде чем отправить ту или иную статью в набор, мы прочитывали ее в своих редакционных комнатах. Имя Сталина упоминалось на каждой странице по десять раз. Впервые его называли «родным и любимым», «гениальным стратегом социалистической революции», «великим вождем партии и народа». Сплочение вокруг Сталина выдвигалось как единственное условие торжества идей Октября, победоносного разгрома классового врага, объединившегося для борьбы против коммунистической партии и пролетариата. Бдительность, наступательное разоблачение врагов всех мастей и безжалостное уничтожение их, — вот чего требовали передовицы тех лет от всех коммунистов, комсомольцев, всех трудящихся.

Как ни категоричны были статьи, как ни блистали они формулировками, но они не снимали волновавших нас вопросов: почему с каждым днем имя Ленина, вождя и стратега социалистической революции, бесспорного организатора партии и советского государства уходит в тень? Почему Сталин, малоизвестный в годы Октября, вдруг оказался «самым верным и последовательным соратником Ленина»? Почему дальнейшая судьба партии и страны связывается только с именем Сталина, только с ним одним? Тогда эти вопросы обсуждались открыто. Спорили страстно, порой ожесточенно. Убежден, что про эти обсуждения знало и политическое руководство в Москве, и сам Сталин. И скорее всего, именно поэтому имя Сталина поднималось все выше, а аргументы в пользу «самого верного,

последовательного и гениального» приобретали напор и мощь урагана. И слова эти завораживали. Заговорщицкая деятельность «врагов народа» изображалась в масштабах колоссальных, втолковывалось всем и каждому, что Родина под угрозой гибели, и только со Сталиным во главе мы можем вызволить ее из беды, спасти революцию от поражения. И все происходящие после убийства Кирова разоблачения и судебные процессы утверждали это раз за разом бесповоротно, только так и никак иначе.

Перемены происходили стремительно. Раньше в крайком партии мы ходили по партбилетам, теперь же было создано бюро пропусков и для партийных, и для беспартийных. Раньше Роберт Индрикович Эйхе ходил в одиночку, его можно было встретить и на улице, и на стадионе, а теперь же его всюду сопровождали два охранника в штатском. Многие замечали, как это тяготит Эйхе, и он требовал от них ходить на почтительном расстоянии. В его приемной рядом с секретарем усадили дежурного офицера НКВД.

Вскоре начались фундаментальные кадровые перестановки повсюду. Газеты пестрели сообщениями о переезде того или иного руководителя из одной республики в другую, из края в край, из области в область. Кое-кто из центрального аппарата был послан в области. Так было, например, с кандидатом в члены Политбюро Павлом Петровичем Постышевым, отправленным в Куйбышев первым секретарем обкома партии.

Чем все это было вызвано, никто не объяснял, но каждый мало-мальски думающий человек понимал, что происходит перетряска руководящих кадров, что для этого существуют какие-то причины, а вот какие — гадай как хочешь. Не уцелело в прежних рамках и административно-территориальное деление страны. Сибирь оказалась в числе регионов, которые подверглись решительному переделу, хотя совсем недавно, в конце 1929 года, край был

разделен на Западную Сибирь с центром в Новосибирске и Восточную Сибирь с центром в Иркутске.

В конце 1934 года нашего первого секретаря комсомола вызвали в Москву. Вызов совпал с поездкой в столицу первого секретаря крайкома партии и председателя крайисполкома. Вернулись все они небывало быстро и ошеломили нас новостью: Западно-Сибирский край и Восточно-Сибирский край изменили свои прежние границы. Между ними появляется Красноярский край с центром в Красноярске. Обь-Иртышская область с центром в Тюмени, существовавшая всего несколько лет, упраздняется. Часть ее восточных районов и часть районов Западно-Сибирского края войдут в новую Омскую область. А Тюмень и несколько районов вокруг нее вернутся в Уральскую область (центр — Свердловск).

Но были новости и персональные, касавшиеся судебных работников Западно-Сибирского края. Коснусь только тех перемен, которые затронули комсомольские кадры.

ЦК ВЛКСМ в связи с созданием новых административно-территориальных единиц учреждал свои оргбюро в Омске и Красноярске. Первым секретарем оргбюро Омской области был назначен Шунько, вторым секретарем Аксенов, (работавший в Запсибкрайкоме комсомола заведующим военным отделом), а членами оргбюро утверждались Кузик (в «Большевистской смене» он был заводделом комсомольской и партийной жизни газеты, в Омске ему поручалось возглавить областное бюро юных пионеров) и я. Я был назначен членом оргбюро и утвержден ответственным редактором газеты «Молодой большевик», которую нам предстояло создать, что называется, «с колышка». Все эти передвижения произошли стремительно, так как была получена директива ЦК партии: организационные меры осуществить быстро, без раскачки, и как можно быстрее приступить к работе.

Создание новых территориально-административных единиц объяснялось важными целями: необходимо уси-

лить как руководство развивающимся народным хозяйством, так и политическое воздействие на весь процесс социалистического строительства. Едва ли стоит подвергать сомнению обоснованность этих действий. Но были, конечно, и другие соображения, о которых говорилось между прочим или вовсе не говорилось.

В стране отчетливо наметилась линия на расширение партийного и государственного аппарата как рычага командно-административных методов, переросших затем в основные формы руководства и принесших стране много тяжких бед.

...31 декабря 1934 года, глубокой ночью мы небольшой группой, возглавляемой Володи Шунько, прибыли в Омск. В эту ночь в городе разыгралась вьюга. Поезда вышли из расписания, и омский вокзал превратился в скопище ожидающих пассажиров. Мы решили переждать на вокзале и затем уже перебраться в город пешком. Но войти в здание вокзала, забитого людьми, было невыносимо.

Шунько отправился к дежурному по станции. Вернулся он не скоро, и мы изрядно продрогли на морозе, прячась в будке с вывеской «Кипяток».

— Дозвонился до дежурного оргбюро ЦК партии. Пообещал прислать крытый грузовик. Отвезут в общежитие, — сообщил Шунько.

Грузовик прибыл раньше, чем мы ожидали. Через полчаса мы уже занимали свободные койки в общежитии, где стояло не меньше полусотни кроватей армейского образца. Бывшая казарма была наскоро побелена и кое-как приспособлена для временного проживания работников новой области.

Утром первый секретарь оргбюро ЦК партии Д. Булатов принял Шунько. Володя сообщил нам о результатах их беседы.

— Оргбюро ЦК ВЛКСМ будет размещаться в этом же доме. Отводится для вас пока семь комнат. Для редакции

газеты «Молодой большевик» намечен дом на улице МО-ПРа. Дом деревянный, одноэтажный, далеко не новый, но еще крепкий. Газета должна выйти не позднее чем через два месяца. Никакие объяснения об отсрочке выпуска газеты в расчет приниматься не будут.

Дом, отведенный под редакцию, произвел удручающее впечатление. Накренившийся на один угол дом с подгнившими венцами фундамента и сползающей крышей. Однако у нас не было другого выхода, и на капитальный ремонт средств, увы, не отпустили.

После советов с инженерами из Горжилотдела мы выбрали наименее затратный вариант: сносим все внутренние стены и возводим новые, чтобы пять больших комнат разделить на десяток «клетушек». Более удобного варианта рассадить редакцию, бухгалтерию и хозсектор у нас не было.

Пока разворачивался ремонт, я занимался составом редакционных сотрудников. Ответственный секретарь редакции, выпускающий, заместитель редактора приехали из Новосибирска, первый замредактора — из Тюмени. Ряд сотрудников пришлось сманить из «Омской правды» под предлогом более интересных должностей и более высоких окладов. Утрясли рабочий график с типографией.

Между тем ремонт шел с осложнениями. То не хватало рабочих, то не доставлялись вовремя необходимые материалы. Ощутимую помощь оказывали редакционные сотрудники — грузили, красили, чистили, мыли.

Нервотрепки было предостаточно, но в установленные сроки газета «Молодой большевик» вышла...

— Георгий, в наши ряды проник враг. Крупный. Только что меня вызывали в управление НКВД и предупредили, что надо принимать меры. Будем хлопать ушами, потянут к ответу и нас самих.

Наш разговор с Володией Шунько происходил не в его кабинете, а на улице.

— Кто такой? — спросил я растерянно, никого ни в чем не подозревая.

— Только Марев! — сказал Шунько.

— Марев? Да не может этого быть! Он же, сам знаешь, предан нашему делу!

— И я не поверил. Но им-то лучше знать. Оказывается, из Харбина он приехал не по согласию Исполкома КИМа, а по распоряжению разведки Семеновского белогвардейского центра. И в подпольную организацию Харбина он был внедрен как агент с провокационным заданием. Все документы у него липовые. Нам приказано убрать его с должности твоего заместителя, но так, чтобы он не понял, будто нам известно его подлинное лицо. Нельзя спугнуть его раньше времени! Говорю тебе как другу. В управлении мне и тебе говорить не рекомендовали. Справляйся, мол, сам... А я без тебя что смогу сделать?

Шуныко искренне не знал, как поступить в подобной ситуации, и он искал содействия у меня. Но я был совершенно сражен этой новостью.

— Вот это праздничек у Тольки! У него же сегодня родился ребенок. Он, как полоумный, помчался в роддом,— сказал я.

— Если он враг, то я не собираюсь радоваться вместе с ним,— помрачнел Шуныко.

— А вдруг ошибка?! А? Бывает же! Они святые, что ли? Ты сам посуди, Володя, неужели мы не заметили бы, не почувствовали вражье нутро? Столько лет вместе работаем! Почти круглые сутки друг с другом.

— Ты что, не доверяешь органам? У них ошибок не бывает... Это мы можем принять коршуна за воробья, а у них глаз наметан, у них же традиции Дзержинского — лучше не осудить двух врагов, чем осудить одного друга! Ты забыл об этом?

— Помню.

— Вот то-то и оно, что не помнишь.

Мы бродили по улицам Омска, но, как ни старались, придумать что-то толковое не смогли.

— В случае если будут нажимать,— принял решение Шуныко,— скажу, что дело это непростое, что надо должность Мареву подыскать, и повод для перемещения придумать. Потянем время.

Он утешал и себя и меня. Втайне мы рассчитывали на лучший исход. А вдруг забудут? Или поймут, что в самом деле ошиблись, поспешили? А в то, что Толька Марев враг, засланный из-за границы, ей-ей, мы не верили.

Но НКВД готовился нанести новый удар. В Омск приехал поэт Леонид Мартынов. Он был молод, но имя его было уже широко известно в Сибири.

— Очень одаренный человек, с большим будущим,— сказал мне Петр Людвигович Драверт, профессор минералогии, старейший поэт, когда-то, в царское время, отбывавший ссылку в Якутии. Его сборник «Под небом якутского края» был издан в Томске в 1911 году. И теперь я считаю этот сборник редкостной книгой по своему поэтическому своеобразию. С Дравертом я познакомился в первые дни моего приезда в Омск и по его приглашению выезжал на археологические раскопки, которые он вел под Омском, на берегу Иртыша.

Рекомендация Петра Людвиговича для меня много значила, и я немедленно разыскал Леонида Мартынова, пригласил его прийти в редакцию «Молодого большевика».

И Мартынов пришел. Высокий, стройный. Красивое серьезное лицо. Коротко стрижен «под ежик». Но весьма скуп на слова и жесты.

— Спортсмен и путешественник,— подумал я о нем и не ошибся. Он лет на пять был старше меня, но при знакомстве эта разница сгладилась, и у нас с ним возникли отношения сверстников.

Мартынов рассказал мне многое об Омске, о своей родословной. Город он очень любил, знал о нем уйму всяческих былей и небылиц. Был, разумеется, помянут и Федор Михайлович Достоевский, биография которого так трагически и неотторжимо связана с Омском. А затем Мартынов посвятил меня в свои поэтические замыслы и прочитал глуховатым голосом несколько стихотворений.

— Как это замечательно, что появился в Омске Леонид Мартынов, он поможет нам сделать газету гораздо более интересной, — думал я.

Не откладывая дело в долгий ящик, мы совместно с Мартыновым отобрали стихотворения, и я без промедления отправил их в набор.

— Вы и гонорар платите? — спросил поэт с откровенной заинтересованностью.

— Конечно! И таким авторам, как вы, вполне приличный, — прихвастнул я.

— Отлично! У меня хроническое безденежье, — сказал он и чиркнул ребром ладони по горлу.

— Я вам сейчас же выпишу аванс. Стихи приняты, они будут напечатаны обязательно. — Я взял клочок бумаги и написал распоряжение бухгалтерии о выплате аванса. Не помню, какая это была сумма, но только хорошо помню, как был доволен поэт.

Дня через два-три стихи были напечатаны в газете. Позже я неоднократно встречал эти стихи в сборниках Мартынова, это значило, что он ценил их, и опубликовал отнюдь не ради куска хлеба, в котором нуждался в ту пору.

Наши читатели заметили появление стихов Мартынова, писали и звонили в редакцию, просили продолжить знакомство с его творчеством.

Но совсем по-иному отнеслись к этой публикации в отделе пропаганды и агитации Оргбюро обкома партии.

— Ты совсем классовое чутье потерял? А тебе не известно, что он вернулся из административной ссылки? Ты что не знаешь, что у него самая худшая репутация — поэта, равнодушного к нашей революционной нови? Товарищи из управления НКВД сигнализируют...

Так коллективно мне выговаривали работники сектора печати Оргбюро. Вопрос о публикации стихов был вынесен на секретариат Оргбюро. Меня стращали по меньшей мере выговором.

— Да, вы посмотрите, какие великолепные образы, рифмы, мысль! Все они полны нашим мироощущением, — пытался я защитить и поэта, и себя.

Однако на секретариат Оргбюро меня все-таки вызвали и поставили на вид, а отделу пропаганды и агитации поручили усилить контроль за газетой.

Я сделал тогда все, чтобы Леонид Мартынов не узнал об этом происшествии. Лишь спустя лет двадцать после этого, уже в Москве, мы вспоминали с ним Омск, наших общих знакомых и земляков. И тут я рассказал поэту, как в свое время «пострадал» за его стихи. Мы уже многое пережили, повидали, задубели от невзгод и потому тихо и равнодушно посмеялись над гримасами нашего тогдашнего бытия.

«Нет положительно мне не везет в Омске. Зачем только послали меня сюда?» — с отчаянием думал я тогда.

Едва я пережил историю с публикацией стихов Мартынова, как возникла новая. Меня вызвали в НКВД и потребовали снять с работы сотрудника, который вел у нас в газете историческую и краеведческую хронику.

— Ты знаешь, что его отец был городским головой? — спросили меня чрезвычайным тоном, пытаюсь подчеркнуть значение всплывшего факта.

— Ох, уж эти отцы, они непременно кем-нибудь когда-нибудь да были! — попробовал я пошутить, не зная, что моя фраза будет впоследствии расценена как политическое легкомыслие, и мне придется за нее отвечать.

Все, что происходило со мной и другими товарищами, не только настораживало, но и убеждало — впереди грозные события, клубок будет разматываться дальше, но куда более стремительно.

— Встречаемся в 12.30 у драмтеатра. Нужно поговорить.

Это звонил Шунько. По голосу и по месту назначенной встречи — не в обкоме, а на улице, — я понял, произошло

нечто нешуточное. В редакции я сослался на вызов в обком. И, поручив заместителю ведение дел по номеру, отправился к театру.

Шунько был уже здесь, прохаживался, нетерпеливо поглядывал на прохожих.

— Час тому назад я вернулся от Булатова, — начал он тихо. — Не буду хитрить. Разговор шел о тебе. Два дня в Омске был Розит. Ну, ты знаешь, что он не только уполномоченный комиссии совконтроля по Западной Сибири, но и член краевой комиссии по чистке партии. Он привез какие-то заявления, которые доказывают, что ты скрыл свое социальное положение! Твой отец не бедняк, а зажиточный. И ты никому не сообщил, что твой брат исключен из партии как троцкист, а племянник исключен из комсомола как правый уклонист. Все это Розит расценивает как... Словом, он требует немедленно освободить тебя от должности редактора газеты. Ну и, конечно, учтены эти факты в контексте засорения редакции чуждыми элементами.

Булатов согласен с Розитом. Он сказал мне, что в такое время мы не можем на идеологически важных постах держать людей, у партии вызывающих подозрение. Мне приказано через три дня доложить о принятых мерах.

Н икогда я не видел Володю Шунько таким растерянным и многословным. Уж кто-кто, а он знал не только меня, но и всех моих родных. Еще в 1926 году, когда мое родное село Ново-Кусково было районным центром, он проводил у нас по поручению окружкома комсомола районную конференцию. И впервые я, пятнадцатилетний комсомолец, был избран членом райкома и председателем районного бюро юных пионеров. Знал Володя Шунько и моих братьев, — все они намного были старше меня, участвовали в Гражданской войне добровольцами, а затем были первыми шоферами, киномеханиками, сельскими кооператорами. Знал Шунько и моих сестер — сельских учительниц. Но, видимо, теперь эти факты не стоили ни гроша.

И был еще один член оргбюро, отлично знавший мою родословную — Л. Кузик, с которым я работал в комсомоле Томского округа с 1927 года.

Казалось бы, я мог рассчитывать на поддержку товарищей, но они принялись убеждать меня, что не они мне, а я им должен оказать поддержку.

— Ты пойми, доказать ты им ничего не сможешь! Против тебя выступают люди заметные. За ними авторитет. А коли мы начнем защищать тебя, то попадаем в число примиренцев. С нами разговор будет короткий.

— Неужели правда зависит от должности и авторитета?

— Ты рассуждаешь легкомысленно, без учета обстановки. Посмотри, что творится вокруг. Партийная печать только и твердит: примиренец — хуже врага!

Но пока это был лишь предварительный разговор, а заседание официальное состоялось через день.

Это заседание и теперь я помню во всех деталях. Входили в кабинет первого секретаря молча, насупленные, друг на друга не смотрели. Я сидел в углу, а не за столом, где у меня как члена бюро было постоянное место.

Шунько в нескольких фразах изложил суть дела и предложил членам бюро высказать свое мнение. Все молчали. Ми-

нуты текли, а слово никто не просил. Шунько напомнил, что заседание собралось не для того, чтобы играть в молчанку.

— А какое мнение по этому вопросу у тебя самого, Володя? Ведь ты все-таки первый секретарь, и не без твоего участия Марков стал редактором газеты и членом Оргбюро. И ты его знаешь чуть ли не с пеленок,— спросил второй секретарь Оргбюро Л. Аксенов.

— Знаю я его с самой лучшей стороны. Уверен, что все, в чем он обвиняется, разъяснится и отпадет. Но, поймите, в данный момент не идет речь о том, быть ли ему в комсомоле и партии. Мы обсуждаем лишь указание партийного органа о снятии его с редактора газеты. Если мы против этого указания, то должны это мотивировать. Есть у нас такие основания? Товарищем Розитом лично представлены основательные материалы. А у нас что?

— Там представлены бумаги, а я у вас тут живой, меня можно располосовать на части,— попробовал вставить я.

Но мои слова пропустили мимо ушей.

— Я так думаю: чтобы не оказаться примиренцами, Георгия надо снять с работы. Но в решении следует отметить, что делаем мы это с сожалением, так как выхода иного у нас нет.— Это была точка зрения члена Оргбюро, моего давнего товарища Л. Кузика.

— А вдруг что-то из обвинений подтвердится? Пусть даже самое незначительное. Тогда мы точно попадаем в число примиренцев,— это было мнение Аксенова.

Долго спорили, как снимать меня с работы — с сожалением или без сожаления. Обратились ко мне, ты, мол, сам-то как считаешь, подходит такая формулировка? На мой вопрос — есть ли ко мне конкретные претензии по газете, ее содержанию, все единодушно загудели, что если поступать по справедливости, то нужно отметить, что газета справлялась со своими задачами. И вроде все с этим согласились, но вдруг послышался протестующий голос второго секретаря.

— Нет, нет, это не подходит. Такое решение есть не что иное, как завуалированная попытка по существу отвергнуть указание, которое мы получили. Нет, товарищи, не стоит миндальничать, и Маркова надо снять с работы без всяких оговорок. Придет время — разберутся.

И меня сняли, сняли с хмурым единогласием, потому что было очевидно, что если сегодня сняли меня, то нет никакой гарантии, что завтра не снимут любого из сидящих за столом.

На другой день связались с ЦК ВЛКСМ, и оттуда незамедлительно ответили: «По принятому вами решению относительно ответредактора газеты возражать не имеем оснований».

Еще не передав дел моему заместителю, утвержденному исполняющим обязанности ответредактора, я получил одно за другим два известия, менявшие все мои обстоятельства коренным образом.

Опираясь на материалы, поступившие из Новосибирска, и решение Оргбюро комсомольской организации о снятии меня с работы, партколлегия решила привлечь меня к партийной ответственности и для ведения дела назначила следователя по фамилии Малышева. К ней мне надо было явиться через пять дней, к 10 утра, в комнату 32.

Второе сообщение предписывало в течение 48 часов получить по месту работы расчет и с суточным запасом продовольствия и парой запасного белья явиться на сборный пункт для прохождения воинской службы в Красной Армии.

За 48 часов, отпущенных мне, мы с женой успели не только собрать меня, но и подготовить и ее отъезд. Она уезжала в Иркутск — город ее юности, где она училась, где жили ее родители и друзья, на помощь которых мы рассчитывали. И глубокой ночью я посадил ее на скорый поезд Москва-Хабаровск.

И пошел я служить в армию, понимая, что следователь Малышева достанет меня всюду...

Нас погрузили в теплушки, и эшелон помчал на восток. На нарах, тянувшихся во всю ширину вагона, мне выпало место в самом уголке. Я лежал, сжавшись в клубок, уткнувшись лицом в подушку, набитую соломой.

То, что мы едем на дальневосточную границу, у меня не было никаких сомнений. Наши отношения с Японией, отхватившей у Китая огромную территорию, ухудшались с каждым месяцем. И теперь японцы поглядывали в сторону нашей границы. В документах Коминтерна, ЦК партии и правительства японский империализм характеризовался как самый агрессивный на Востоке и поставивший цель перекроить карту дальневосточного региона. Японское правительство усиливало связи с немецким и итальянским фашизмом, и это создавало все более напряженную обстановку. И СССР укреплял свою обороноспособность на границах. В Приморье, Приамурье, Забайкалье непрерывно шли эшелоны с людьми, стройматериалами, военной техникой.

В тряской теплушке, под храп моих сослуживцев я снова и снова мысленно перебирал события последних дней. И чем больше раздумывал над происшедшим, тем очевиднее становилась вопиющая несправедливость. «Значит, и Толька Марев не враг, и стихи Мартынова не чуждые нам, и наш сотрудник, родившийся в семье городского головы, ни в чем не виновен... Какое-то предвзятое наложение нелепостей... Кому же выгодно ломать людям судьбы?», — думал я.

Через трое суток эшелон остановился на станции Юрга. Раздалась команда: «Приступить к разгрузке». Стало ясно, что на Дальний Восток нас не повезут. В семи километрах от станции, на берегу Томи, находился летний военный лагерь Сибирского военного округа. Нам, отдельной саперной роте 73-й стрелковой дивизии, надлежало войти в состав спецлагеря инженерных войск округа.

Лагерь мы оборудовала быстро. Утром начали, а к вечеру по всему косогору, полого спадавшему к реке, белели палатки. Выделялись штабная палатка, с радиоантенной и красным флажком, и палатка, в которой сделали клуб.

Вскоре слева и справа от нашей роты разместились другие подразделения. Лагерь наполнился шумом, который редко затихал даже в ночную пору. Роты учились, осваивали оружие, возводили на реке плоты, подрывали только что возведенные пролеты мостов, а ночью, по сигналу «тревога!», подымались и с боевой выкладкой уходили в многокилометровые марши.

Тот учебный год был в боевой учебе особенным. Нарком Ворошилов приказал поднять качество учебы войск, приблизить ее к условиям боевой обстановки, памятуя старинное изречение: «Тяжело в учебе — легко в бою!» Все приказания выполнялись бегом. На завтрак, обед, ужин мы также бежали строем, бежали и на занятия, и с занятий, бежали даже на концерты самодеятельности в импровизированный зал под открытым небом.

Поначалу непрерывный бег давался с трудом, но постепенно мы втянулись, манера бежать вошла в привычку.

Первый взвод, в котором я оказался, сразу же выделился как лучший. Ребята подобрались симпатичные, грамотные, физически хорошо подготовленные. Возводили ли мы переправу через Томь, копали ли траншеи, сооружали ли долговременные огневые точки — все у нас спорилось, и мы перекрывали установленные нормативы.

... Прошел примерно месяц нашей лагерной жизни. У меня появились товарищи, с которыми начали складываться дружеские отношения. В свободные часы мы собирались в клубной палатке и либо читали стихи, либо рассуждали на темы текущих международных событий. И стихов, и событий хватало с избытком!

Сама армейская служба меня не тяготила. В семье охотника я получил изрядную физическую закалку, и меня не стра-

шили ни марш-броски без привалов, ни ночевки у костра во время суточных дежурств по охране лагеря. Но меня безмерно тяготила неопределенность моего положения в партии.

На второй месяц службы меня вызвал командир части.

— Среди средних и младших командиров у нас мало коммунистов и комсомольцев,— сказал он.— Сейчас проходит набор на краткосрочные курсы. На полгода отправляем в Ленинград, после чего люди вернутся нести службу в свои же части. Мы посоветовались с комиссаром и решили в числе пяти товарищей направить и тебя на эти курсы. Как ты смотришь на это? Мы учитываем и личное желание.

Я не собирался становиться военным. Но если это неизбежно, пусть будет, что будет.

— Я согласен, товарищ командир части! Но есть одно серьезное препятствие, о котором я обязан доложить вам. Я на подозрении.

Не успел я произнести и пяти фраз, как в палатку вошел комиссар.

— Кстати, Андрей Михайлович! У нас тут началась душевспасительная часть беседы,— невесело усмехнулся командир.

Я рассказал вкратце о том как все было.

— Да, разберутся с этим! Все это пустяки,— с убежденным оптимизмом воскликнул комиссар.

— Нет, Андрей Михайлович, рисковать не будем. Ведь, если что, с тебя и меня шкуру снимут. Я верю нашему бойцу, и все же... Время, братец мой, круто поворачивает... А вот куда, братец, не знаю...— резко сказал командир части. Комиссар опустил голову и пуще прежнего задымил папиросой.

Я покинул командирскую палатку с ощущением, что меня обложили плотным слоем ваты и мне нечем дышать.

Через несколько дней комиссар позвал меня в свою палатку и поручил вести политические занятия в другом взводе. Обычно их проводили командиры взводов, но тут был

особый случай, когда потребовалось временно заменить групповода (так называли руководителей политзанятий).

На моих первых занятиях комиссар просидел, что называется, от звонка до звонка. Программа политзанятий была элементарной, рассчитанной на малоподготовленных. Тут географическая карта, растянутая между березами, была незаменимым пособием. Политический строй страны, ее государственное устройство, принципы Союза республик,— становились особенно доступными, когда границы, города, моря и реки показывались на карте. С картой проще было рассказывать и о текущих событиях внутренней и международной жизни. Комиссар дал положительную оценку нашим занятиям и больше не появлялся.

Но однажды я заметил, как маскируясь в березняке, к моему «классу» осторожно подошел человек и, затаившись, долго слушал мою беседу с бойцами. Повторилось это и раз, и два, и три. Мысль о том, что мне не доверяют, преследовала меня. И когда мы оказались с комиссаром наедине, я рассказал ему о «слушателе», который прячется в березняке. Я не ожидал, что мой рассказ, с известной долей горького юмора, вызовет такую резкую реакцию у комиссара. Он не просто покраснел, а стал густо-багровым, ладони сжались в кулаки, глаза засверкали яростью.

— Вот сволочь! Это особист из дивизии, ходит-бродит, вынюхивает! Он уже капал и на тебя, и на меня. Даже вот эту березу подозревает в антисоветизме. Поганая душонка!

И комиссар, стукнув по столу кулаком, запустил такой витиеватый матерок, что я опешил.

— Когда еще раз увидишь его, вежливо так, но разоблачи поганца. Такие не любят света. Скажи, как можно громче, проходите, мол, товарищ командир, присаживайтесь,— посоветовал мне комиссар.

Этот откровенный разговор с комиссаром произвел на меня тяжелое впечатление. Я был уже, конечно, кое в чем сведущим человеком, но некоторые детали разговора с ко-

миссаром содержали для меня обескураживающую новизну. Комиссар называл особиста «кляузником», «поганой душонкой». Не перебрал ли в горячке? Я был убежден, что особисты — исключительные люди, высокой пробы: честные, идейные, неподкупные... Однако не верить комиссару я тоже не мог. Он пришел в Красную Армию еще в Гражданскую войну, шахтер из Анжерки, член партии с двадцатого года... Комиссара я считал настоящим большевиком.

Но вот что любопытно. После этого разговора я больше ни разу не видел человека в березняке. Возможно, я перестал интересоваться им, а может быть, он так замаскировался, что я перестал его узнавать. Но допускаю, что комиссар сам поговорил с ним, осадил его прыть.

В конце лета состоялись крупные войсковые учения. Наша рота вместе с другими подразделениями покинула лагерь и вышла на отведенные ей позиции. Вначале мы наводили понтонные мосты, потом строили дорогу, засыпая трясину, а когда вошли в гористую местность, приступили к взрывным работам. За нами двигались войска, и потому работа велась и днем и ночью. Были тут и азарт, и удаля, так как мы понимали — это лишь репетиция, а война, авось, проскочит мимо. Наше веселье поддерживали две гармошки, гитары, мандолина и скрипка. Причем скрипачом был сам командир части. И еще поддерживал веселье... пиццблэк. Кормили нас хорошо, очень хорошо, не то, что в лагере, и не было ни одного случая, чтобы походная кухня нас подвела.

Но дня за два до конца учений начались дожди. Люди, кони, повозки, автомобили будто вышли не из учебного боя, а из настоящего. Колонны войск растянулись на многие километры, замаячили в боевых порядках санитарные повозки с флажками, пересеченными крестом и с больными под брезентовым навесом.

Когда мы вернулись в наш палаточный городок, он показался нам чудом уюта и приветливости. Но ненадолго. После дождей подул холодный ветер и по ночам, чтобы согреться,

мы набрасывали поверх одеяла все, что можно было собрать, шинель, гимнастерку, поясной ремень. Да и ремень тоже! Ремень пусть и узкий, но тепло тоже дает, признавали все.

Нас, конечно, занимал вопрос, когда роты отведут на зимние квартиры? «Торговать дрожжами», по ночам становилось невмоготу. В госпиталь стали отправлять ребят с воспалением легких.

Наконец в одну из ночей, нас подняли по тревоге. Выйдя за лагерь, мы направились к железнодорожной станции. На станции стояли теплушки, и мы приступили к погрузке немедленно.

Нас привезли в Омск. Я снова оказался в городе, где принял первые удары судьбы. Что же еще готовила она мне? Эта мысль кружила голову, отравляла настроение.

В Омском военном лагере, на берегу Иртыша, мы жили в фанерных домиках, где было так же холодно, как в палатках в лагере на Юрге. Складывалось впечатление, что командование не знает, что с нами делать. Наконец однажды утром нас построили и сообщили, что весь приписной состав распускается до очередных сборов.

Я сдал обмундирование, оружие, переоделся в свою одежду, сохраненную на вещевом складе. И сразу же отправился к товарищам.

... Дверь открылась. В проеме стояла жена моего товарища. Увидев меня, она замахала руками:

— Уходи, Георгий, уходи! Борис исключен из комсомола за связь с тобой и три дня назад арестован. Арестованы Толя Марев и Нежецкий. Уходи!

И дверь передо мной захлопнулась.

В Омске у меня было много товарищей. Но идти к кому-то из них после происшедшего, я не рискнул. В ушах все еще звучало: «Уходи!»

Ночь я скоротал на пристани, на каком-то дебаркадере, среди редких пассажиров, ожидавших последний паром до Тобольска.

А утром, там же на пристани, я встретил работника спортивной лодочной станции, с которым был знаком по совместной поездке на археологические раскопки профессора Драверта. Этот паренек был осведомлен о событиях в городе. Подтвердил то, что я узнал вчера об арестах в комсомоле, и привел целый список должностных лиц. И с наивной простотой добавил: «Тебя тоже считают арестованным».

— За что? — только и спросил я.

— У всех одна наклейка — враг народа.

В раздумьях провел я целый день на берегу Иртыша. Уклониться от посещения партколлегии я не мог — там меня ждали. Да и я уже устал ходить в статусе «подотчетного». К тому же существовал устав партии, который я обязался выполнять добровольно и неукоснительно.

И я решил идти к Малышевой не откладывая. Всякие мысли лезли в голову и уж, конечно, самые худшие. Но вместе с тем меня не оставляла вера в справедливость. «Да в самом-то деле, за что же меня будут исключать? Вины за мной нет никакой, а если и были какие-то ошибки, то кто не ошибается на работе? В конце концов, и в НКВД работают члены партии, большевики, лучшие из лучших. Зачем же им товарищей по партии превращать во врагов?»

... И вот я сижу перед следователем Малышевой. Она принесла папку с моим делом. Папка изрядно пополнила. Малышева долго листала бумаги, восстанавливая в памяти суть вопроса, потом, будто сама себе, сказала:

— Всего-то одна бумага стоящая, от Розита. А остальное не разбери-поймешь. Вот от сельсовета. Какой-то чудак пишет, будто дед твой был батраком на купеческой пасеке, и тут же, что вроде бы имел до 1900 года при себе работника. А вот заявление каких-то членов партии... Подписи, правда, неразборчивы. Пишут, что, будучи в Томске, от кого-то они слышали, что твой отец кулак. А в справке сельсовета сказано, что права голоса не лишался. Инди-

видуальным налогом не облагался. Имущественное положение до вступления в колхоз — бедняцкое. А какая-то девица сообщает, что твоя жена — дочь белогвардейского офицера. Небось, обиделась, что ты ее плохо приласкал, — усмехнулась Малышева. — Ох, знаю я этих идейных подстрекуш. На уме-то у них совсем другое...

Потом подвинула ко мне лист бумаги.

— Пиши объяснение, признавай ошибки. А я сделаю заключение для партколлегии — поставить тебе на вид.

— А какие ошибки?

— Ну, подумай. Вот, мол, заставил ответственных людей терять драгоценное время.

— Неубедительно, Мария Тимофеевна.

— Ну, тогда заверяй, что впредь будешь куда бдительнее, классово закаленное. И учти, от нас без взыскания никто не уходит. Для этого мы тут и сидим.

Я взял лист и написал что-то в духе того, что говорила Малышева. Она забрала со стола пачку с бумагами и ушла к кому-то. Я же сел в коридоре и стал ждать ее возвращения.

— Приходи завтра к пяти вечера. Будет коллегия заседать, — сказала мне Малышева, отметив росчерком мой пропуск.

Не прожил, а промаялся я в ожидании коллегии. Прикидывал одно, прибрассывал другое, вспоминал отца, братьев, сестер, племянников и племянниц. Вспоминал, как уходил из села в город. А мать, проводив меня до поскотины, прослезилась и, держа за руку, наказала:

— Не искривись там. Перво дело — добро. Ты с ним к людям, и они к тебе с тем же.

Перебирая прожитые годы, я думал о том, что не причинил людям горя, и уж тем более не навлекал на них несчастья...

Я пришел в партколлегию задолго до пяти. Прошел проверку у двух постов — при входе в здание и на этаже, где де-

журили двое, один в энкаведешной форме, а другой в штатском. Эти и забрали партбилет, отметив крестиком в списке.

— Почему отбираете партбилет? Я ведь еще не исключен.

— Проходите, товарищ. Берем партбилеты для контрольной проверки. Надо будет — вернем.

Но спорить я не стал. Это же все-таки товарищи по партии, худого не сделают.

К пяти часам в большой приемной сталолюдно. Набралось человек сорок старых и молодых. Женщин было немного.

Около семи вечера зачитали список тех, кому надлежало войти в комнату, где проходило заседание партколлегии.

Около половины ожидавших прошли в помещение. Вернулись они достаточно скоро.

— Ну, что там? Почему так быстро? — кинулись те, кто ожидал своей очереди.

— Задали кое-какие вопросы и велели ждать. Дела, мол, уже рассмотрены, решение объявят, — сообщили вернувшиеся с заседания. В их голосах слышались недоумение и разочарование.

Наконец вызвали нас. Мы вошли, суетливо тесня друга друга. Длинный стол завален папками. Во главе сидит крупный мужчина — бородка клинышком, полное равнодушие утомленного взгляда. Мы поняли — это ответственный секретарь партколлегии.

— Давай, Иван Иванович, зачти-ка по порядку, кто за что привлекается, — не отрываясь от бумаг, сказал он.

Иван Иванович, поглядывая через очки на вошедших, начал бойко читать:

— Куликов — обман партии при вступлении, сокрытие службы в Белой армии, участник расстрела красных бойцов.

— Адамов — обман партии в экономической области, допустил порчу зерна на току, где состоял начальником. Активный пособник контрреволюционным элементам.

— Чернопяттов — обман партии в идеологической области, примиренчество к классовому врагу в школе. Допустил извращенное толкование в оценке роли товарища Сталина в Гражданской войне. Отъявленный троцкист.

Прозвучало не менее полутора десятков фамилий, в том числе и моя, и каждая начиналась со стандартной фразы «обман партии».

Когда Иван Иванович закончил чтение списка, секретарь коллегии сказал:

— Все ясно. Более чем ясно. Враги народа. И это им не пройдет даром. Есть ли вопросы к привлеченным гражданам? — обратился он к членам коллегии. Раздался голос: «Какие вопросы?! И так все ясно! Таким нет места в партии».

Кое-кто из нас сделал попытку протестовать:

— Почему дела рассматриваются скопом? Вопиющее нарушение устава!

— Никакого нарушения нет! Дела изучены членами партколлегии и следователями. И не думайте, что с каждым из вас мы будем цацкаться. Вы сами об уставе думали, когда шли против партии? Выйдите в приемную и дождитесь решения!

Секретарь хлопнул ладонью по столу, давая понять, что разговор окончен.

Мы вышли подавленные и растерянные. В приемной я обратил внимание, что на пропускном пункте, где у меня забрали партбилет, стояли уже не двое, а, по крайней мере, десять человек в форме НКВД.

Вскоре дверь открылась, и послышался голос Ивана Ивановича:

— Объявляется решение партколлегии. После изучения материалов и очного разбора персональных дел, партколлегия исключает из рядов ВКП (б) следующих лиц.

Началось новое перечисление тех же фамилий, и тех же мотивировок, которые были уже заслушаны в кабинете заседания.

Едва чтение списка поголовно исключенных закончилось, раздались выкрики: «Насилие!», «Антипартийное безобразие!», «Мы будем жаловаться товарищу Сталину!»

В этом гвалте я не сразу заметил, что кто-то тянет меня за рукав.

— Уходи, уходи скорее! Через запасной ход! — шептала мне, толкая уже в бок кулаком, следователь Малышева.

Только теперь я сообразил, о чем идет речь. Сейчас все исключенные будут арестованы и их отправят в тюрьму.

Я отошел в коридор и нырнул в проем, над которым горела табличка «Запасный выход». Он хорошо был мне знаком. Иногда мы задерживались в Оргбюро ВЛКСМ до глубокой ночи, главные выходы из здания закрывались до утра, и мы выходили по запасному выходу, примыкавшему не то к гаражу, не то к авторемонтной мастерской.

Мне повезло. Я выскочил во двор, забитый машинами, перебежал его и оказался на улице. Никто меня не видел. Я уходил от тюрьмы, не зная, правильно ли поступаю. Я уходил, как зверь, которого обложили охотники.

«Надо немедленно уезжать из Омска. Немедленно! Тут до справедливости так же далеко, как до неба», — подстегивала меня тревога. Мои романтические иллюзии о верности товарищей партийному долгу полностью развеялись.

Я выбежал на самую людную улицу города, смешался с потоком прохожих, и, задыхаясь от волнения, заспешил к вокзалу. В камере хранения лежал мой чемоданчик с вещами, который я положил сюда дня три назад, не найдя где остановиться. Квартiry у меня уже не было, а навязываться к другим со своими докуками я опасался. Недаром же говорят в народе, что нежеланный гость, как чума, радости не принесет, а затащить заразу может. Всего лишь вчера мой редакционный товарищ, увидев меня, поспешил перейти на другую сторону улицы. Да разве он один был такой? В то время многие следовали присказке «от греха подальше».

Я сунул кладовщику рублевку с квитанцией, схватил чемоданчик и поскорее смешался с толпой пассажиров. Скорей всего, я не стал бы рисковать и не стал бы брать чемоданчик, но в нем лежали пять общих тетрадей в коричневом коленкоре. Две из них были заполнены наивными набросками моего романа, а в трех других — мои подготовительные рефераты будущего экстерната.

Я поспешил в кассовый зал. Ближайший поезд ожидался в четыре утра. Это был курьерский «Москва-Владивосток». Но билетов на него чаще всего в свободной продаже не было. Однако я встал в очередь у кассы. Вдруг повезет?

Часа в два ночи, устав от долгого стояния, я занял место в очереди и решил побродить по вокзалу. Возбуждение, переполнявшее меня после побега из парткомиссии, еще не прошло, и каждый, кто, как мне представлялось, внимательно смотрит на меня, казался мне одним из преследователей.

И вдруг я оторопел, разглядев в толпе знакомую фигуру, кожаное пальто летчика с голубыми петлицами, форменный шлем с окулярами. Шунько! Откуда он здесь? Может, с аэродрома, с ночных занятий?

Он ходил между скамеек, забитых спящими пассажирами, и внимательно присматривался к ним, будто искал кого-то. То, что он мог искать меня, мне и в голову не приходило. Жизнь нас развела слишком далеко друг от друга. Я сделал попытку спрятаться за высокой спинкой скамьи. Именно в этот момент он увидел меня:

— Подвинься,— сказал он мне и втиснулся, прижимая меня к стене. Он посмотрел через плечо и остался довольным этим укромным местечком, огороженным от людских глаз:

— Я знал, где тебя искать.— Он помолчал, собираясь с мыслями.— Ничего не могу понять. Происходит что-то невообразимое. Сегодня на Оргбюро исключены из партии и отданы под суд десять директоров МТС и начальников политотделов! И обвинение у всех одно и то же: контрреволюционный саботаж и антипартийный заговор... Ты все правильно сделал!

Он снова замолчал, а потом тихо сказал: — А не измена ли где-то наверху? Не решились ли враги погубить нашу революцию, а заодно и всех нас? И ты не осуждай нас за то собрание. Может статься, что наша судьба будет еще горше.

Он попытался обнять меня, но я решительно отвел его руки.

— Понимаю тебя,— сказал Шунько.

Если бы тогда я знал, что выпадет на его долю, ни за что не оттолкнул бы его. Через год после этой ночной встречи член бюро ЦК ВЛКСМ, генеральный комиссар Центрального авиационного клуба Володя Шунько будет арестован вместе с другими деятелями комсомола и отправлен на долгие годы в лагерь строгого режима, в Иланский район Красноярского края. Но узнал я об этом лишь в 1940 году, в Иркутске, прочитав на газетном обрывке: «Иркутские

почтовики, умоляю, доставьте эти строки писательнице Агнии Кузнецовой», а далее шел его краткий адрес и инициалы. Я сразу узнал Володину руку. У него был весьма своеобразный кудрявый почерк, с нажимом в окончаниях слов. Мы с женой купили на рынке три шмата соленого сала, пять пачек папирос «Казбек», которые, как я помнил, курил Володя, запечатали все это ящик и сдали на почту. Сообщения о получении не поступило. Мы отправили еще три посылки. Мы знали, что заключенные этого лагеря не имели права на переписку, но верили в чудо.

Одна из посылок все-таки дошла до Шунько. Об этом он рассказал мне сам, когда в 1956 году мы встретились с ним, представьте, на том же Омском вокзале. Однако я забежал слишком далеко вперед...

— Достань мне билет на курьерский поезд, иначе они возьмут меня,— я сунул ему деньги в карман пальто.

— Жди здесь. Попробую через дежурного военного коменданта.— И он ушел, лавируя между мешками, чемоданами, узлами, корзинами.

Я ждал его долго, и уже начал сомневаться, не передумал ли он пособить мне в беде. Наконец он пришел и показался еще более мрачным.

— Что, нет билета? — обеспокоенно спросил я.

— Есть билет, держи! — он подал мне билет.— Худые вести, Георгий. Застал самого коменданта. Рассказывает такое, что мурашки по спине бегут. В штабе СибВО арестован заместитель командующего и два комдива...

За стеной загрохотал курьерский поезд. Я поднял чемоданчик. Дремавшие пассажиры разом встрепенулись. И стены, и пол затряслись от тяжести тормозящего состава.

— К поезду со мной не ходи. Так будет лучше и тебе, и мне.

Он ничего не ответил. Я оглянулся, а он все стоял и стоял как окаменевший в сумраке ожившего, разворошенного вдруг пассажирского зала.

Через сутки с небольшим я приехал в Томск. Остановился у брата, работавшего механиком на грузовом катере. На речном флоте пока было спокойно, но он рассказал мне о том, что происходит в Нарымском крае. Всех ссыльных, осужденных по 58-й статье, переместили в самые отдаленные уголки и поселили в остяцких юртах. Нормально жить в них было нереально. Ханты, по-старому остяки, не живут в них, а в поисках зверя кочуют из урмана в урман, и только во время лютых морозов возвращаются в юрты, чтобы переждать стужу в тепле. То есть ссыльных разместили во времянках, лишенных каких-либо минимальных удобств.

Рассказал он также, что часть ссыльных вывезена в Новосибирск, Камень, Бийск, Барнаул, где тюрьмы забиты до отказа. Его катер в устье Васюгана был снят с перевозки леса, направлен в Каргасок, откуда пришла баржа с арестантами, которых перевозили на Колыму. Нечто подобное происходило и в Томске. И я наконец-то понял, что то, чему я был свидетелем в Омске, происходит повсюду.

Нет, Томск не подходил для меня, тут я слишком был на виду. Но продолжал наивно верить, что вот-вот все разъяснится, и люди, попавшие под несправедливый и скорый суд, будут оправданы. А разве могло быть иначе?

И я принял решение уехать к отцу. Попутчиков найти не удалось. У крестьян была в разгаре страда. Домолачивали в овинах хлеба, били масло из конопли и кедрового ореха, подвозили сено с лугов. Одним словом, не до поездок в город. И пошел я пешком. Сто двадцать километров, конечно, не пустяки-вареники, но и сидение на месте тоже не радость. Пришел я в Ново-Кусково на третий день вечером. Огни в избах уже погасли, село притихло в вязком сумраке. Если б не искры, вылетающие стаями из труб, можно было вообразить, что село обезлюдело. Вечер был холодный и ветреный. На заборах и крышах, поблескивали пятна инея. Вот-вот и на просторы Причулымья примчится с севера зазимок, гонец матушки-зимы.

Мой родной дом стоял на самой кромке сельской улицы, на берегу речки Соколы, в окружении берез. Наши охотничьи собаки вяло полаяли, я посвистел им, и они, признав меня, дружелюбно завизжали. Едва я постучал в дверь, отец тут же отозвался:

— Ты, что ль, Федюшка? — отец назвал брата, жившего в Томске.

— Готястый, — ответил я. Это прозвище придумал мне отец еще в раннем детстве.

Отец торопливо загремел железным крючком.

Пока мы запирали дверь в сених, мать вздула лампу, потом кинулась ко мне. В отпуск я всегда приезжал летом, а тут, вдруг, явился в канун зимы. Ясно, произошло что-то недоброе. Родители смотрели на меня с тревогой.

— Сбежал от тюрьмы, — сказал я и объяснил, что произошло.

Мать всхлипнула, взглянула на иконку, висевшую в уголке избы, мелко перекрестилась:

— Ох, боюсь я за Ванюху нашего! В Новосибирск поехал. Все правды доискивается. А она, вишь, правда-то, как топор, все норовит на дно лечь.

Иван мой старший брат, участник Гражданской войны, член ВКП (б) с 1921 года, учитель географии, в последнее время работал штатным пропагандистом райкома партии. Несколько месяцев тому назад его исключили из партии якобы за троцкистские вывихи в работе.

— А у нас тоже затрясло. На прошлой неделе собрали всех административно-ссыльных, а в Ежах партизана убили, который председателем тайного ревкома был при колчаковской власти... А тут еще в Пышкиной Троице утопшего попа выловили. Тоже, видать, кто-то насильничал, — рассказывал отец.

Мы просидели за шумящим самоваром всю ночь. Разговор был тревожный, будущее казалось неопределенным, смутным. Отец несколько раз повторил:

— Нет, Ленин такое не наказывал. Не затем народ на революцию подымал, чтоб жилось потом людям в страхе.

Я не выходил на село, сидел в избе, решив пока ни с кем не встречаться. Возможно, мои предосторожности были излишними, но один факт вызвал у меня беспокойство. В Ново-Кусково нагрянул районный уполномоченный НКВД. Отца вызвали в сельсовет, и, выдворив из комнаты председателя и секретаря, приезжий устроил ему допрос с пристрастием:

— Куда твой сын Иван уехал? В Новосибирск? В Москву? Где он хранит оружие и антисоветскую литературу? Где он проводит подпольные собрания?

Отец взъярился: «Ты кто — провокатор или чекист? Этому вас учил Дзержинский?»

Уполномоченный остервенел и стал грозить отцу, что упечет его за Березовую гриву. «Ты меня Березовой гривой не стращай. Я там охотился, когда тебя еще на свете не было», — ответил отец.

На старой губернской карте неподалеку от Березовой гривы, где в 1930-е размещалась комендатура поселка выселенных кулаков, значилось урочище Марково. Это и был охотничий стан моего отца, на котором он обитал в молодости.

Дома разговор отца с уполномоченным районного НКВД мы подвергли тщательному анализу и пришли к выводу, что моя омская история пока до них не дошла.

— Завтра уйдем на Чулым, за Старо-Кусковскую курью. Недели три там проживем. А коли они явятся, мать скажет, что был да сплыл. В Томск, мол, уехал.

Мне ничего не оставалось, как признать это решение правильным. Мы ушли за полночь, никто нас не видел.

На Чулыме у отца было несколько избушек: на деревенской курье, на протоке Бахтол и на курье Лангуше. Так звались эти места в обиходе. И охотники с рыбаками, зная излюбленные плесы отца, по исстари заведенному порядку не стремились вторгаться в уголья, занятые другим.

Избушки отца на станах имели довольно замысловатую конструкцию. Изначально в ярах вырывались вместительные убежища. Потом в них вставлялся каркас из краснотала, обмазанный глиной — такой каркас хорошо удерживал осыпь. Внешняя часть избушки складывалась из бревен, и потому и дверь, и окно, и выходное отверстие для трубы железной печки, были по размеру почти такие же, как в обыкновенной избе. Тут даже в бураны и морозы было тепло и светло. Внутри, кроме печки, был еще стол, сбитый из плах. И во всю ширину помещения тянулись нары. Из сухостойной сосны были нарезаны чурбаки, заменявшие стулья. На стене возле печки — полка для посуды и шест, на котором сушили одежду, а при необходимости — и сети. Освещалась избушка жировиком: в консервной банке, наполненной рыбьим жиром, плавала жестяная пластинка, сквозь которую был продернут тряпичный фитилек. Света, конечно, маловато, но ведь и помещение было невелико — пять шагов вдоль и четыре поперек.

Мне и прежде приходилось жить с отцом в таких избушках. Он умел всюду, где бы ни появлялся, создавать минимальные удобства и подобие домашнего уюта. Вот и в этот раз мы прежде всего накололи дрова, обогрели избушку, привели в порядок нары, надергав из ближайшего стога охапки сена для постели.

— Ну, а теперича будем промышлять еду, — сказал отец.

Из дома мы взяли только хлеб и соль. Остальное по традиции добывали в тайге и на реке. У нас было ружье, блесна, проволочная сетка для черпака, а уж за остальным дело не стало. К ужину у нас на выбор были свежие окуни и серые куропатки. А дня через два-три, когда у нас уже был собран запас еды на пару недель, мы занялись заготовками для семьи.

Недели через три к нам нагрянул брат Иван. Решение райкома об исключении его из партии было отменено. Обвинение в антипартийных действиях признано ошибочным, а райкому указано на необходимость более тщательного подхода к персональным вопросам. Единственное обвинение, которое осталось в моем деле это исключение брата из партии за троцкистские вывихи. Теперь и это опровергалось самым убедительным образом. И мне такой поворот в судьбе брата давал надежду на мое восстановление в партии. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но не все так складывалось так просто.

— В Новосибирске прошли новые аресты,— хмуро рассказывал брат.— Сажают всех без разбору. Раньше хотя бы коммунистов предварительно исключали из партии, а теперь НКВД дали право забирать коммунистов, не обращая внимания ни на партийный стаж, ни на должность. Говорят, будто арестовано несколько ответработников в самом крайкоме партии...

— Но с тобой-то обошлись милостиво, разобрали дело, вернули партбилет,— заметил я.

— Надолго ли?

Мы долго обсуждали, как нам жить дальше и что конкретно делать мне, продолжать оставаться на нелегалке или выходить на белый свет и начинать борьбу за восстановление, если, конечно, из Омска не привезут решение об аресте. Было, правда, и еще одно обстоятельство: мы с братом были повязаны друг с другом. Его мне уже «пришивали» как исключенного, а теперь вот и ему могли «пришить» меня по тому же мотиву.

Конечно, сидеть в тайге можно и дальше — безопасность гарантирует наступавшая зима. Но может ли это сидение принести какой-нибудь удовлетворяющий меня результат?

В конце концов решили, что надо ехать в Томск и попробовать там устроиться на работу. Естественно, на ра-

боту в газете я претендовать не мог. Знал, что меня туда не возьмут...

В Томске я начал внимательно изучать объявления в газете о наборе рабочей силы. Читал объявления, расклеенные на афишных досках и тумбах. Но все они указывали одно направление — работа в Кузбассе и на Дальнем Востоке. И вдруг узнаю, что мой давний товарищ по комсомолу Алеша Пешнин — директор спиртоводочного завода! Иду к нему. Он знал о моей беде. Но помочь мне согласился охотно.

— Но, учти, Георгий, у меня по культурно-просветительской части работники не предусмотрены. Могу только на склад направить. Будешь фасовать бутылки по ящикам... Понимаю, что не твой это профиль, но ничего иного предложить не могу.

— И на этом спасибо,— ответил я Пешнину.

Склад стоял в глубине заводского двора. Старое купеческое здание из добротных, хорошо прокаленных кирпичей. Внутри него несколько мужиков в телогрейках копошились при тусклом свете двух маленьких лампочек.

— Значитса, новичок, одно тебе хочу сказать,— обратился ко мне кладовщик в черной мохнатой шапке.— Иногда у нас тут происходят случайности — бутылка скок и об пол! Ну, мы, понятно, актируем и списываем. Директор хоть и поругивается, а куды же денешься — стекло, не железо. Вишь, какая тут прохлада, а без этого дела околеешь! — он подмигнул, дескать, понимай, о чем речь, и щелкнул по горлу прокуренным пальцем.

Я понял, о чем он беспокоится, и сказал:

— Как заведено у вас, так и делайте. А я пока этому делу не обучен,— и для наглядности по его же примеру щелкнул пальцем по горлу.

— Часом не из староверов?

— Из них,— ответил я, чтоб поскорее закончить эту тему.

— О-о, сурьезные люди! Хоть убей, а от своего устава не отступят,— с видом знатока пояснил кладовщик остальным мужикам, окружившим меня.

— А мы, язви ее, любим эту холеру! — воскликнул второй кладовщик, и мужики рассмеялись, хитровато переглядываясь.

Все разошлись. Я подошел к свободной стойке с ящиками. Тут уже были тетрадь с фактурными листами, банка гвоздей, мотки тонкой проволоки, которой обматывали заполненные ящики, два молотка и плоскогубцы.

— Давай, вкалывай, новичок! А чего не разберешь, спрашивай,— напутствовал кладовщик в черной шапке, и я понял, что он здесь за старшего.

Но работать на складе мне довелось всего три дня. На четвертый день утром, едва кладовщики разошлись по своим местам, пришел директор. Подойдя ко мне вплотную, он торопливо прошептал:

— Улепетывай-ка по-быстроу, Георгий. Сейчас сюда прибудет комиссия горкома ВКП (б) и НКВД. Кто-то настучал, что я засоряю коллектив бежавшими кулаками и исключенными из партии. Тебе там за три дня немного накапало, но лучше не оставлять следов. А этим скажу, что рассчитал тебя, мол, в Кемерово мать у тебя померла.

— Понял. Будь здоров, Алеша, и спасибо тебе!

Я выскочил со склада и поспешно свернул в первый же переулок.

Период, начавшийся этим безрадостным происшествием, был в моей жизни, пожалуй, самым изнурительным. Я ждал. Я бесконечно ждал. Мне казалось, вот-вот произойдут перемены в нашей жизни, еще немного и, конечно, все удачно прояснится в моем положении. Но время шло, а перемен никаких.

Исключенных из партии в городе становилось все больше. Уже десятка два моих товарищей из числа бывших комсомольских работников ходили без партбилетов.

Таким работу найти было решительно невозможно. Даже «недовыселенцы» (так называли крестьян, бросавших и дом, и хозяйство и уходивших из родных мест, не дожидаясь, когда их официально выселят как кулаков) имели приоритет над исключенными из партии.

Логика кадровиков была проста: «От мужика что можно ждать? Ничего. Как был темным, таким и остался. А вот исключенный из партии — опаснейший элемент! Он активен, может антисоветчину пропагандировать, а то и вообще диверсию устроить...» И кадровики церберами стояли на подступах к любой работе, не допуская исключенных даже к самым безобидным должностям.

Собираться большими группами мы боялись. Но все-таки время от времени, например, под видом рыбалки, где-нибудь в тихом местечке, мы встречались по пять-шесть человек, и сообща обсуждали наше положение.

Иной раз рассуждали так: «А не пойти ли самим в НКВД? Пусть забирают! Ведь невинного не осудят. Зато будет внесена ясность, можно будет начать нормальную жизнь».

Некоторые шли. Просили разобраться. Но надежда на то, что «невиновного не осудят», что непременно «честно разберутся» жила недолго.

Вскоре поползли слухи, что в НКВД арестованных избивают, подвергают изощренным пыткам, заставляют подписывать такие признания, что кровь стыла в жилах. Я верил и не верил этому. Верил, потому что говорили об этом очень серьезные и честные люди, а не верил, потому что это полностью разрушало мое представление о безупречной большевистской морали наших чекистов, в мы все тогда незыблемо верили.

... Весенний день играл всеми красками цветущей земли. Ах, как счастливо жилось бы, если б не попал я в эту историю, если бы не эта проклятая затравленность, от которой постоянно ноет сердце. Примерно об этом я думал, когда заметил человека, идущего мне навстречу и тяжело

опиравшегося на сучковатую палку. В его нескладной, перекошенной фигуре мне почудилось что-то очень знакомое. Но взглядевшись, отметил, что лицо его мне неизвестно — рот перекошен, веки опущены, щека дергается. Инвалид...

Когда мы поравнялись, я, вдруг, услышал знакомый голос.

— Что, Георгий, не узнаешь? Или узнавать не желаешь?

И в ту же секунду я понял кто передо мной! Я бросился к нему и схватил за рукав.

— Семен Петрович... И где же... кто тебя так?

Это был Семен Петрович Шпаков, Семушка, Семяка. Считаю, мой земляк из-за Чулымья. Когда-то секретарь Пышкино-Троицкого райкома комсомола, потом секретарь райкома партии того же района. Сын командира партизанского отряда, и сам юный партизан, парттысячник с химического факультета университета, мой давний и преданный друг (на семь лет старше меня) и добровольный учитель по физике и химии.

Он обнял меня, всхлипнув:

— Отойдем куда-нибудь,— сказал он, так как прохожие стали с любопытством оглядываться на двух мужчин, тискавших друг друга в объятиях.

— Куда пойдем, Семяка? — спросил я, называя его тем дружеским прозвищем, которым называл его в дни его молодости.

— Только на остров, Георгий! Здесь могут услышать,— он осторожно посматривал на прохожих, говоря почти шепотом.

Проулками мы спустились к Томи. По узкому тесовому настилу перешли на остров возле устья Ушайки и забились в густые заросли тальника.

— Все, что я тебе расскажу — большая тайна. Я дал пять подписок о неразглашении. Так вот, Георгий, запомни одно. НКВД — это фашисты, изменники, которые об-

манывают партию, обманывают товарища Сталина. И не верь ни одному слову о том, будто бы там кто-то озабочен поиском истинных врагов...

Семяка плакал как ребенок, размазывая слезы ладонью.

— Меня били, пытали, терзали очень долго. Я наговорил на себя такого... Я теперь шпион: и немецкий, и французский. Я племянник японского микадо. У меня в подвале склад оружия. Вот как, друг, дела нынче со мной обстоят. Почему выпустили? Загадка! Наверняка какой-то новый расчет. А, может быть, потому, что я уже не жилец — отбиты почки, печень, селезенка. Жить-то мне несколько недель.

Семяка рыдал. Слезы текли по его дрожащим щекам, капали на рубаху. Вместе с ним плакал и я. Не верить ему или сомневаться в том, что он говорит правду? Но я видел, кто сидел сейчас рядом со мной, сравнивая его с тем Семякой, которого знал когда-то. Это были часы горького и окончательного прозрения, крах последних сомнений.

Мы просидели на острове часов пять. Расходились врозь, разными тропами.

Первое, что мне сказал Семяка на следующей встрече, были слова, выстраданные им в подвале томской тюрьмы:

— Не медли ни дня, отправляйся в Москву. Чем скорее там узнают о наших фашистах, тем скорее дойдет вся правда до Сталина, тем скорее он покончит с изменниками революции.

Отправляйся в Москву! Легко сказать. На какие шиши? До столицы четверо суток пути. Да и там надо где-то остановиться и что-то есть.

Но в одном Семяка был прав. Любой ценой надо было выбираться в Москву. Время шло, а на мои заявления, которые я писал одно за другим то в ЦК, то в партколлегию, то прямо Сталину не было никаких ответов.

Возможно, мои сборы затянулись бы надолго, если бы не разразилась новая беда. В одну из ночей был арестован

мой старший брат Иван, совсем недавно восстановленный в партии.

Во время обыска, вместе с его краеведческими записями, картами, зарисовками древних стоянок человека и месторождений ценных ископаемых были взяты и черновики моего незавершенного романа, и рефераты по различным историческим и экономическим вопросам.

Откладывать поездку в Москву больше было нельзя. Я продал на толкучке кожаную тужурку, по пятерке-десятке выпросил в долг у родственников, сел на поезд и отправился в столицу, полный уверенности, что чего-то добьюсь. Правда, было у меня опасение — не схватят ли меня в Омске? Но все же поехал.

... И вот я снова в Москве. У меня сохранились кое-какие адреса комсомольских работников Москвы. Попробовал позвонить кому-то, но ответы были схожими: «Его нет, а когда будет, неизвестно», «он здесь не живет», «просим больше не беспокоить». Я понимал, что означают эти ответы. Комсомол подвергся планомерному разгрому.

И я отправился на Старую площадь. Прежде чем войти в подъезд, где располагалась парткомиссия, осмотрелся. Вдоль здания ходила наружная охрана в штатском. Вошел в здание. Тут охрану несли уже военные в форме.

— Что нужно? — спросил постовой.

Я объяснил суть дела, подчеркнув, что приехал из Сибири.

— Прием только по вызову. Вызова нет? Ничем помочь не могу, — сообщил постовой.

Я стал говорить о своих письмах, на которые не получил ответа, но постовой нетерпеливо замотал головой и с раздражением произнес:

— Я же сказал, прием только по вызову! — И кинув на меня резкий взгляд, добавил: — Вы по-русски понимаете?!

И тут пожилой человек, проходивший мимо, чуть замедлил шаг.

— Вы в парткомиссию? — услышал я приглушенный голос.

— Именно так.

— Я пойду рядом и все объясню.

— А вы кто?

— Я такой же, как и вы. Нас тут собралось очень много. Существует даже очередь. Ваш номер, кстати, 4748. Ваше место для переключки возле дома Боярина. Переключка проходит в полночь. Остальное вам объяснят. До свидания!

Я не успел сказать ни слова, как этот загадочный человек пошел назад. Я хотел догнать его, расспросить обо всем, но словно почувствовав мое намерение, он обернулся и сделал рукой предостерегающий жест.

... Не без опаски, около полуночи я пришел к указанному месту — музею «Дом Боярина». Лил дождь, дул пронзительный ветер. Трамвайные пути тускло мерцали в свете редких фонарей.

Я остановился возле музея. В темноте угадывались какие-то мельтешащие фигуры.

— Из очереди? Какой номер? — услышал я голос из темноты.

- 4748.

— Следующая отметка вам в среду.

— Сколько же ждать придется?

— Как повезет! Может быть, месяц, а может быть, — годы. Теперь уходите побыстрее. Скапливаться не рекомендовано.

Я собирался еще кое-что выяснить, но фигура бесследно растворилась в сумерках.

Н очной электричкой я добрался до Подольска. Здесь, в общежитии студентов машиностроительного техникума жил мой товарищ, бывший очеркист «Большевитской смены» Коля Драчев, с которым мы в свое время покосили по сибирской глубинке. Потом он работал в газете «Комсомолец Хакасии» и был исключен из комсомола за связь с врагами народа. Его должны были посадить. Он знал об этом. И уехал, не дожидаясь ареста. Теперь он обитал в Подольске и был студентом техникума. За небольшую плату он упросил вахтера приютить меня. Вахтер по ночам бодрствовал, а я коротал ночи в его вахтерке, на жестком голом топчане...

В среду, в означенное время я снова был у дома Боярина (Зарядье, ул. Варварка, д. 10, «Палаты боярина Романо-ва» — Ред.) Эта ночь была и теплее, и светлее. Еще издали я увидел собравшихся людей. Подошел ближе. На это раз никто не спросил у меня номера. Все были увлечены чем-то другим и, видимо, очень важным.

— Еще раз повторяю, товарищи, распоряжение штаба очереди: поскольку вчера очередь разогнала конная милиция, и мы получили предупреждение о возможных административных акциях, рекомендовано немедленно разъехаться по своим местам. Ходят слухи, что в Москве собралось уже более пятидесяти тысяч исключенных из партии, и они намерены поднять мятеж. Так вот, эти слухи вполне могут стать поводом для серьезного кровопролития. Однако мы считаем, что отдать жизнь так глупо было бы бессмыслицей. Желаю вам веры в наше непобедимое ленинское учение и стойкости в бурях нашего времени! Наши страдания и подвиги не порастут быльем. Партия еще вспомнит о нас. До свидания!

По манере произносить протяжное «о» я понял, что указание штаба очереди — был, оказывается, и такой штаб! — передано тем самым человеком, который и сообщил мне номер очереди в здании парткомиссии.

Собравшиеся взволновались: что же делать дальше?

— Прошу расходиться, товарищи! Промедление опасно! — возвысился тот же голос.

Через минуту-другую стало пусто.

Я брел по пустынной улице. Что делать? Как дальше жить?

Вышел на Москворецкий мост, остановился, вглядываясь в черневшую воду Москвы-реки. И мелькнула мысль: «Встань на парапет, прыгни вниз, и разом все кончено».

Обожгло меня от этой мысли не жаром, а холодом. И будто отец оказался рядом. И будто крикнул мне в самое ухо: «Да как ты думать можешь о таком! Иди скорей ко мне, сынок! Иди!»

Я поспешил уйти с моста, расставаясь с остатками отчаяния. Нет, нельзя опускать руки! Мы еще поживем, еще поработаем! Жизнь ведь еще не закончена. Надо все пройти до конца. И еще посмотрим, кто кого...

Я торопливо шагал по ночной Москве в сторону Ярославского вокзала, дав зарок никогда больше не поддаваться отчаянию, едва не погубившему меня.

... Через день я сел в поезд «Москва–Иркутск». Я решил забрать жену и уехать с ней куда-нибудь на Крайний Север. И там, не покладая рук, заняться работой над тем, что пока лишь было обрывочно и смутно очерчено в колени-корковых тетрадах. Цель у меня уже была, и, может быть, найдется и воля...

1988–1989 гг.

Старый тракт

Глава I



Томский купец Петр Иванович Макушин возвращался из Петербурга в полном здравии и довольстве. Все намеченные сделки — и в столице, и в первопрестольной — были исполнены с превышением.

Вслед за его легкой тележкой на рессорах двигались семь подвод в разнопряжку с грузом. На пяти телегах, в тюках, упрятанных под брезентовыми пологам, лежали книги и бумаги. А на последних двух — ящики с новыми типографскими шрифтами.

«Хорошо-то как обернулось, — улыбаясь в пышную бороду, думал Макушин. — Книги на все вкусы! Есть что интеллигентам предложить — Шекспир и Шиллер, Бальзак и Золя, Толстой и Тургенев, и простонародье не в обиде — буквари, русские сказки, лубки в красочных разводах. А уж как будут радехоньки наши сибирские писаки, узнав о новых шрифтах и штампах. Да и старший приказчик, человек образованный и обходительный, вызовет наверняка восторг у томской публики».

Макушин перевел взгляд на рядом сидевшего юношу. Это был Северьян Архипович Шубников, воронежский мещанин, земляк любимого Макушиным поэта Алексея Кольцова, которого нанял купец на должность старшего приказчика-книговеда.

Шубников был рекомендован томскому купцу московскими владельцами книжных заведений Петром Глазуновым и Иваном Сытиным с самой лестной характеристикой: юноше лишь двадцать три года, образование не превышает классической гимназии, но знаний редкостных, и, кроме русского, силен во французском, при необходимости и перед немецким с аглицким не растеряется, а особо мастак по исторической и изящной книге, и что касается прилежания, любви к делу, то оное свыше всяких мер.

— Боже мой, какие просторы, каков размах! Смею уверить вас, Петр Иваныч, подобного не приходилось наблюдать даже в степях донских! — сказал Шубников.

— Да-с, милостивый государь Северьян Архипыч, уж как вы правы! Ширь истинно необъятная! — радуясь, что Сибирь производит на свежего человека сильное впечатление, воскликнул Макушин.

— А как зовется эта местность, позвольте полюбопытствовать?

— Барабинская равнина. Но это, так сказать, по книгам, а в просторечии — Бараба. И обратили ли вы внимание, какой здесь тучный скот, сколько тут добра на крестьянских усадьбах?

— Приметил, Петр Иваныч, как не приметить! И даже подумал: как только чугунка протянет свои рельсы через эти просторы, отчаянно буйная жизнь начнется в этом краю.

— Бесподобная жизнь, Северьян Архипыч, право слово бесподобная предначертана. И книг сюда потребуются — море безбрежное! Просвещение народа — великая и благородная цель. И попомните мои слова — многие прославят на этом поприще свои имена.

Ямщик, ловко сидевший на облучке тележки, то и дело посвистывавший на пару гнедых, обернулся на слова купца и, зная покладистый его характер, вставил свое:

— А покуда, Петра Иваныч, время то наступит, крестов тут еще поприбавится...

— То есть как это крестов? — недоуменно поводя плечами под поношенным дождевиком, чуть испуганно спросил Шубников.

— Что, Прохор, снова смертоубийство было? — спросил Макушин.

— В ночь под Троицу за две версты до Малоубинских хуторов обоз с чаем подрезали. Трех мужиков запороли на смерть, двух искалечили. Товар, конечно, на лодки перегрузили, спрятали на той стороне озера, в камышатнике.

Да кто же туды сунется!? Ни подхода, ни подъезда. А все ж, сказывали ямщики на постоялом, что не за чаем варнаки охотятся. Золото, мол, в Мартайге скопилось, вот-вот должны в цареву казну везти...

— Стало быть, преступный мир... — заволновался юноша.

— Что есть, то есть, Северьян Архипыч, — спокойно прервал его Макушин, будто предугадывая вопрос. — Сами посудите: громадное количество ценностей движется с окраин державы в центр... В цивилизованной стране правительство взяло бы все это под тщательную охрану, а нашему другая забота: как приглядеть за ссыльными, да как этапы до каторги доставить. На это и денег не берегут, и войск не жалеют.

— Странная держава, — поеживаясь, сказал Шубников.

Купец заметил движение плеч своего старшего приказчика, расценив это как проявление робости. Он степенно погладил бороду:

— Но не извольте беспокоиться, Северьян Архипыч. Мой товар у варнаков не в почете. Чтобы его сбыть, надо трижды постараться, а им недосуг. Да и сам я известен тут каждому разбойнику семьдесят семь раз.

— А почему это семьдесят семь раз? — спросил Шубников, приметив в раннем вечернем сумраке далекий-предалекий огонек, настороженно мерцавший в степной дали.

— А потому, Северьян Архипыч, что еду я по этим местам туда-сюда уже в семьдесят седьмой раз.

— И все по торговым нуждам в столице? — осведомился Шубников.

— Многократно, но не только в столице, случались дела и ближе — и в Омске, и в Перми. А особенно часто — в Ирбите. Знатная там ярмарка!

— Петра Иваныч, верховые нагоняют нас, — кинул через плечо ямщик.

Макушин обернулся, вытянул шею, сдвинул широкополую шляпу на затылок, стал всматриваться в даль:

— Не вижу никого, Прохор!

— Я не вижу, однако слышу, Петра Иваныч, топот копыт,— подставляя ухо под порывы легкого ветерка, сказал ямщик.

Насторожился и Шубников. Напряженно вскинул голову, и стал осматривать степное раздолье, изрезанное увалами, будто морскими волнами.

— И я не вижу,— заключил он, но тут же добавил: — А вот слышать — слышу.

— Ну, бог с ними, с верховыми. На то он и тракт, чтобы по нему пешие и верховые сновали,— успокоил Макушин ямщика с Шубниковым.— Погоняй-ка веселее, Прохор!

Ямщик пронзительно засвистел, вскинул ременный бич, задергал волосяными вожжами:

— Но-но, соколики!

Тележка закрипела рессорами, из-под копыт лошадей полетели куски слежавшейся земли, пропитанной недавним обильным дождем.

И тут откуда-то слева, с той стороны, где сидел Шубников, послышался повелительный голос:

— Эге, господин Макушин! Немедля придержи коней!

Кони не успели еще встать, а тележку окружили семь верховых полицейских. Макушин соскочил с тележки и тут же осел назад, опасаясь быть опрокинутым грудью жеребца, из ноздрей которого летели брызги пены.

— Василь Василич, что за надобность нагонять меня?! — воскликнул Макушин, подбирая ноги в бизоньих сапогах.

На вороном жеребце сидел давний знакомец Макушина, каинский уездный исправник, штабс-капитан Шароглазов.

— Извиняй, Петр Иваныч. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой. Только ты изволил со своим обозом покинуть постоянный двор, а тут депеша из Омска с неукоснительным предписанием: московский полицеймейстер приказал произвести тщательный досмотр твоих товаров, в целях выявления недозволенных предметов,

относящихся к религиозным культам старообрядцев. Исправник слез с коня, кинул поводья младшему чину.

— Что? Василь Васильевич, то ли слышу?! — Макушин вылез из телеги и встал прямо в лужу.

— А то самое, Петр Иваныч,— хмыкнул исправник, счищая рукояткой ногойки с брюк кусочки налипшей грязи.

— Да ты не шутишь ли?

— И рад бы пошутить, а не могу. Приказано учинить досмотр немедля, в любом и самом неожиданном месте, и непременно до того, как твой обоз достигнет томских пределов.

— Чем же, право, я вызвал эту такую немилость? И кто позволил поставить меня под такое подозрение?! Я пекусь о просвещении народном, а меня готовы обвинить в измене православию. Нет, ваше благородие, этого я без последствий не оставлю.

Макушин все больше накалялся, голос его становился громче, руки взлетали выше головы малорослого исправника.

Шароглазов отступил от купца, заволновался до хрипоты в горле:

— Петр Иваныч, дражайший мой, я же подневолен! Мое дело исполнить приказ и донести, что в обозе томского купца Петра Ивановича Макушина предосудительных предметов не обнаружено... Сам-то я в этом я не сомневаюсь, знаю ваше честное имя, прославленное повсеместно по сибирскому тракту.

— В самом деле, Петр Иваныч, может быть, не стоит все происходящее принимать так близко к сердцу? — вполголоса сказал Шубников, склоняясь к Макушину. Купец внимательно посмотрел на него и, будто бы увидел на худощавом лице юноши какие-то знаки, призывающие к спокойствию.

«Впрочем, и то понять надо: сколько лет полиция воюет с раскольниками, а до победы далеко. Ну, и пусть бы себе веровали, как хотят, так нет, надо травить людей, как волков при облаве», — подумал Макушин, а вслух сказал:

— Понимаю твое положение, Василь Васильевич. Понимаю и сожалею. Со-жа-лею!

— Ну, вот и славно, Петр Иванович! Твое сочувствие моему положению весьма меня утешает. Не первый раз московская полиция порывается подавить раскольников. А будто не знают, что самые именитые купцы в Москве — староверы. Одной рукой задаривают полицию, а другой шлют в сибирские скиты вспомоществование. Попробуй-ка одолей их!

— А позволь, Василь Васильевич, все-таки осведомиться, как намерен ты произвести досмотр? Книги упакованы в пачки, сложены в ящики, а ящики обшиты брезентом... Работы, поверь, дней на пять. А к тому ж, Василь Васильевич, мое дело торговое, оно не терпит пустой траты времени.оборот, извини, как водоворот, крутится неостановимо...

Макушин хотя и был еще возбужден, но говорил уже более рассудительно.

Исправник понимал: дело, которое ему навязано свыше, это больше для отвода глаз от каких-то иных дел, более важных. Уж если петербургские или московские власти затеяли новый поход против старообрядцев, то не здесь бы им учинять проверку обозов, а стоять на стрёме там, где обозы загружаются. Но, как говорится, скворец хоть и шустрая птица, но каркать на всю округу ему Богом не дано. Шароглазов покрутил головой, побрякал, мучительно поморщился:

— Не первый год знаю тебя, Петр Иванович. Твое честное слово — мне дороже досмотра. Я вот только для блезира подводы осмотрю, чтоб в рапорт внести: самолично, мол, проверил, при самом владельце товара. Годится? Или как еще иначе?

— Ну, вот это подходяще, Василь Васильевич. И спасибо тебе на добром слове, я ведь твоим должником не останусь,— повеселел Макушин и повернулся к Шубникову: — Вишь, какое доверие мне, Северьян Архипыч,— в голосе его прозвучала нотка гордости.

— Истинно, Петр Иванович, диковинная держава Россия,— тихо сказал Шубников, однако исправник услышал

его слова, воспринял их как похвалу и себе, и всем властям предержащим.

— Да разве ж мы турки! Разве не понимаем, что к чему! — Он расправил плечи, становясь перед Макушиным во фронт, будто на плацу.

... Шароглазов подходил к каждой подводе, запускал руки под брезент, ощупывал ящики и тюки, иногда вытяскивал что-нибудь, встряхивал, и громко, чтобы слышали нижние чины, говорил:

— Исправно! Исправно! Все согласно царскому закону.

... Вечер опускался на Барабу ласковый, теплый, с запахами степных трав, вступивших в пору созревания и свистом крыльев утиных стай, спешащих на ночевку на бесчисленные барабинские озера.

Глава 2

Томск удивил Шубникова. Старший приказчик, привыкший к шуму и многолюдью Москвы и Петербурга, полагал, что жить ему отныне предстоит в деревне, ну, а если и не в деревне, то по крайней мере в каком-нибудь городишке вроде волостных станиц Верхнего Дона.

А тут, на тебе, город! Да какой! И там и здесь сияют золотыми маковками церкви и соборы, на главной улице — Почтамтской, сплошь каменные здания — одно солиднее другого. На пристани — кирпичные пакгаузы, дебаркадеры, белобокие пароходы. Куда ни кинь глаз — магазины, рестораны, трактиры, гостиницы. Базарная площадь кишит с утра до ночи многоликой толпой. Кого тут только нет! Купец купца погоняет; чиновники в форменных мундирах и картузах, как гусаки с вытянутыми шеями, шмыгают туда-сюда; крестьянский люд на телегах с разной снедью, а в устье речки Ушайки и на берегу охотники и рыбаки с дичью, с рыбой на любой вкус: чебак, щука,

окунь — для простонародья, а для тех, кто побогаче,— муксун, нельма, стерлядь, осетр.

Правда, фруктов нет, но зато ягод местных немерено — земляника, черника, голубика, брусника. Хочешь, бери на вес, а хочешь — корзинами или берестяными расписными туесами, или кадушками, сбитыми из кедровых плашек. И медов тут всяких хоть отбавляй: сотовый, корчажный, гречишный, кипрейный, луговой, свежий прямо из улья или же перезимовавший с засахарившейся крупинкой. Сладкий запах медовых окладов плывет по базару, аж голова кружится.

Шубников поколесил между лавок и телег, порасспросил что почем, и подивился: несравнимо дешевле, чем в России, и, пожалуй, побогаче даже. Вот тебе и Сибирь! А уж как его пугали: хлеб, мол, только ржаной, овощ растет не всякая — солнечного тепла не хватает, скот малорослый, малоудойный, а коровье молоко и вовсе как вода кормов что летом, что зимой в обрез, да и разве кормом назовешь осоку да камыш. «Как уж люди страх нагнать любят, как охочи до всяких придумок», — усмехнулся про себя Шубников.

Зашел он в городские магазины и лавки. И тут полки от добра ломаются: ситцы и шелка со всего света — японские, китайские, корейские, индийские, с Явы и Формозы, с Цейлона и Макао, ковры из Персии и Турции, Дамаска и Багдада. Одежда и обувь на любой фасон, и не только московские да петербургские, а из самого Парижа или из Англии, из чистой манчестерской шерсти, отборного длиноволокнистого хлопка, отменной китайской чесучи. А...

«Разворотлив сибирский купец, смекалист, удачлив. Не сидит сложа руки», — думал Шубников. Но больше всего удивил его университет, окруженный роскошной рощей, с посыпанными красным песком дорожками.

Макушин, отдавший Томску не только много средств, но и душу, пожелал сам сопроводить Северьяна Архиповича в эту часть города. Они сели в пролетку и покатали к университету. Пока ехали от торгового дома купца Второва, Ма-

кушин кивал мохнатой головой налево и направо: с тротуара улицы его приветливо поздравляли с возвращением знатные томские горожане. Среди богатых людей города Макушин со своим капиталом занимал далеко не то место, что владельцы приисков, нажившие огромные деньги на добыче золота. Но уважали Макушина гораздо больше, чем всех остальных купцов. Каждый житель города понимал, что капитал Макушина имел происхождение чистое, так сказать, благородное, и невозможно было представить его имя замешанным в какой-нибудь афере, что нередко случалось с другими купцами.

... Главный университетский корпус Шубников сравнил с белым лебедем в дреме: крылья раскинуты в полный размах, голова приподнята и замерла. Величественное здание, фасад которого вызывал в памяти царские дворцы.

— Прямо как в столице! Нет, пожалуй, даже лучше! — восхищенно воскликнул Шубников.

— А вот в этом здании — книги. Можно сказать, тут их средоточие, — Макушин вытянул руку в сторону университетского книгохранилища. — А пройдет еще годок-другой, и новое здание будет возведено. Вот здесь, вдоль улицы.

— Воистину сибирские Афины, Петр Иванович! Не ожидал такое увидеть, не догадывался даже, что такое возможно! Коленопреклоненно думаю о людях, воздвигших эти чертоги. И где?! В стране холода и мрака.

— А вот насчет холода и мрака, Северьян Архипыч, это уж явное преувеличение. Право же это совсем не так. Вот поживете увидите и сами станете поборником Сибири. Нет, Томск — счастливейшее место на земле.

— Уж как вы любите этот город, Петр Иванович! Вам бы о нем в стихах рассказывать...

— Хорошо бы! Но Господь таланта не дал. А без таланта поэзия как день без солнца.

Они неспешно обошли университетскую рощу, осмотрели стеклянные павильоны недавно открытого Ботанического сада. Никто им не мешал. Студенты были на летних вака-

циях, а профессора — в отпусках, кто на европейских водах, а кто-то в дальних путешествиях по Сибири в поисках тайн, скрытых в ее недрах. Правда, нет-нет, а из-за черемуховых кустов выглядывали недремлющие служители. Настороженно оглядывали путников, но, узнав Макушина, срывали картузы, отвечивали поклоны и снова скрывались в кустах.

— Мир вам и благоденствие, добрые люди! — кивал им в ответ купец, уважительно относящийся к каждому независимо от ранга и чина.

Когда они сели снова в пролетку, Макушин сказал ямщику:

— Довези-ка нас, Ермолаич, до Лагерного сада, пусть новый человек поглядит на наши красоты.

Застоявшийся жеребчик в серых яблоках, рванул рысью, и, хотя надо было одолеть крутой подъем, не сбавил хода. По прямой улице, застроенной каменными и бревенчатыми домами, они выехали за город и углубились в березняк. Березы были как на подбор — белоствольные, прямые, кудрявые.

Поваленных или с поломанными ветками деревьев было не сыскать. Земля между березами прибрана, кое-где вскопана, кое-где примята. И трава подсеяна, прочесана граблями.

— Этот парк, Северьян Архипыч, наша гордость. Зовется — Лагерный сад.

— Почему Лагерный?

— А потому, что воинские команды становятся здесь летом на лагерное обучение. Впрочем, и армейским, и обывателям места тут вполне хватает, но и те и другие берегут каждую травинку, каждую веточку.

Вдруг березняк расступился, и пролетка остановилась на круглой как колесо площадке. Отсюда открывался такой завораживающий вид, что старший приказчик рот открыл. В десяти шагах от пролетки берег, изогнутый подковой, круто обрывался. Внизу темнела упругая прозрачная вода. Река текла неспешно и величаво. Противоположный берег курчавился оторочкой тальника и черемуховых кустов, а уже за ними тянулись ровные, без единого холмика зеле-

неющие луга. Только далеко-далеко, едва просматриваясь, чернела полоса, отсекавшая землю от неба. Там начинались знаменитые томские хвойные леса — кедровые дачи, сосновые боры, непролазные пихтовые и еловые чащи.

— Петр Иваныч! Какие же чудеса сотворил Господь нам на радость! — воскликнул Шубников, втягивая дрожащими ноздрями ошеломляющий запах реки и лугов.

— Эге, вот и вас тронуло! Никто еще, ни один человек не оставался на этом месте равнодушным... А вы говорите хлад да мрак. — Макушин хитровато сощурился, поглаживая пушистую бороду.

— Да, Петр Иваныч, да! Бараба удивила меня, а Томск ошеломил, — бормотал Шубников.

— И пусть поживется вам здесь на славу, Северьян Архипыч! Добра и счастья вам сто коробов!

Глава 3

Шубников поселился у вдовы старшего акцизного контролера Купрякова Агафьи Степановны в ее собственном доме. Та охотно приняла его на полный кошт и велела открыть дверь на веранду, что позволяло Шубникову иметь отдельный выход из дома во двор. Было и еще одно немаловажное удобство: дом Агафьи Степановны стоял в тихом не замощенном переулке, заросшем подорожниками, одуванчиками и лопухами, и отсюда до главного макушинского склада было от силы триста шагов.

Макушин еще по дороге в Томск приглашал Шубникова поселиться у него в квартире — помещений было предостаточно, но старший приказчик, поблагодарив за любезность, решительно отказался от его предложения.

— Не почтите, Петр Иваныч, за небрежение, а только предпочитаю я жить отдельно. По странности моего характера склонен я к ночным занятиям.

Это было правдой, но не всей до конца. Было еще одно соображение у Шубникова. Вместе с Макушиным проживали две дочери: Елизавета Петровна и Викторина Петровна, пребывавшие в зрелом возрасте и обладавшие по беглым отзывам родителя «несравненной внешностью».

Потому Шубников решил оберечь себя от неожиданностей, так как на этот счет имел свои представления и даже некоторые намерения. В Воронеже у него была невеста, на которую еще в малолетстве пал его выбор.

Через неделю после приезда Макушин пригласил старшего приказчика к себе в кабинет и, усадив у письменного стола, заваленного бумагами и книгами, вежливо и уважительно сказал:

— Думаю, Северьян Архипыч, вы уже осмотрелись на новом месте, и коли ничего не имеете против, просил бы вас на будущей неделе, а именно в четверг, встретиться в моем торговом зале с обществом томских интеллигентов. Встречи эти я провожу давно. Приходят любители книг, поборники грамотности и просвещения. За чашкой чая беседуем или читаем стихи, если таковые, конечно, имеются у наших пиитов,— он усмехнулся в усы.— Было бы замечательно, если вы на этой встрече дадите обзор новинок, привезенных из столиц. И, кстати, вас люди узнают, и вы познакомитесь с образованной частью нашей публики.

Обзор книг был прямой обязанностью Шубникова, и потому он кивнул головой.

— Как прикажете, Петр Иванович.

— Итак, в будущий четверг, в шесть часов пополудни,— уточнил Макушин.

В четверг у Макушина собрались все те, кого торговый и купеческий люд именovala «грамотеями». На диванах, в глубоких креслах, на стульях с изогнутыми спинками расположилось человек тридцать. Дамы в изысканных нарядах из первоклассной чесучи и парчи, громко шуршавшей при малейшем движении. Наряды эти, пусть и пошитые в Том-

ске, едва ли уступали столичным. Местные портные и модистки выезжали в Москву и Петербург, а некоторые и в Париж, где обучались хитростям прославленных мастеров. Томские вывески модных ателье были полны неожиданных признаний: «Дамы, все для вас по моде Елисейских Полей», «Пальто и фраки не хуже, чем в Санкт-Петербурге»...

Были среди женщин и особы заметно моложе и одетые куда скромнее. Эти не были ни женами профессоров, ни начальницами женских гимназий, ни дочерьми городского головы или полицмейстера. Это на вечер пришли слушательницы курсов по подготовке учителей для школ, которых понастроил купец Макушин по селам вдоль Сибирского тракта. Потому и воспринимали они каждое слово Петра Ивановича как величайшее откровение.

Помощник прокурора, начальник почтамта и главный лесничий томских пригородных дач пришли в мундирах. Другие были в костюмах без жилеток, а некоторые — с бородами и стриженные под горшок — и вовсе в косоворотках, подпоясанных ремешком.

Петр Иванович объяснил предмет собрания и порекомендовал почтенному обществу Шубникова. При этом он часто посматривал на одинокого человека, сидящего у окна. Облокотившись о белый подоконник, положив ногу на ногу, тот с затаенной усмешкой в ярко-синих глазах слушал Макушина. Шубников понял, что этот рослый синеглазый господин с пушистой бородой для Макушина значит немало.

— Итак, господа, привез я на этот раз семь телег разного товара. И книжные поступления мои для разных интересов и возрастов,— сказал Макушин и, взглянув снова на синеглазого, добавил, обращаясь именно к нему:

— А коли оборот позволит, Ефрем Маркелыч, то осенью в Большой Жировой непременно школу заложим.

Тот, к кому обращался купец, довольно закивал кудрявой головой и громко, без тени смущения перед томскими «грамотеями», сказал:

— Мост бы еще через реку, Петр Иванович, надобен. Детвора-то больше все по заимкам проживает. А место для моста я присмотрел. Меж тех утесов, если помните.

— Помню-помню, Ефрем Маркелыч! — Макушин секунду помолчал и жестом пригласил Шубникова:

— А теперь Северьян Архипыч нам кое-что расскажет.

Шубников начал не очень уверенно. Голос его подрагивал, и он то и дело откашливался. Еще бы, это был первый выход перед томской публикой, от которого зависело, какое мнение сложится о нем. Но вскоре он овладел собой.

— Петр Иванович уже изволил заметить, что богаты и разнообразны новые поступления в его книжные магазины. И прежде всего отмечу книги Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Кольцова... Причем каждая из них своеобразный шедевр не только по содержанию, но и по степени прилежания художников, сумевших придать им некую магнетическую форму, сопроводив каждую великолепными рисунками. Они притягивают к себе, их не хочется выпускать из рук. Это, конечно же, Иван Сергеевич Панов, Николай Николаевич Каразин, Александр Алексеевич Агин, Евстафий Ефимович Бернадский...

Шубников забыл о волнении, рассказывая о писателях и художниках, дополняя общие характеристики интересными подробностями и оригинальными личными оценками. Речь его становится все сочнее, увереннее.

— Петр Иванович! Где же вы нашли такое чудо? Это же мастер словесности! — прошептала на ухо Макушину начальница женской гимназии, глядя сквозь пенсне на Шубникова.

«Да он и впрямь своих денег стоит», — кивая головой начальнице гимназии, подумал Макушин, с досадой вспомнив вдруг о минутных колебаниях при найме старшего приказчика в Петербурге.

Шубников сделал паузу, и не спеша продолжил:

— Раздел изящного искусства, господа, гораздо шире, чем возможно очертить в кратком слове. Право, нет

у меня тех слов, которые достаточно представили бы все достойные произведения русской изящной словесности, однако глубокоуважаемый Петр Иванович не оставил без внимания также пристрастия тех, кому небезразлично европейское литературное творчество. Теперь в книжных магазинах Петра Ивановича Макушина в достаточной мере представлены Оноре де Бальзак, Эмиль Золя, Ги де Мопассан, Чарльз Диккенс! Их книги, способные очаровать каждого, занимают в новом поступлении весьма и весьма заметное место.

Однако я разочаровал бы и тех из вас, господа, кто остается поклонником строгой науки, посвятив себя изучению ее премудростей, если бы не сообщил, что и вы найдете то, чего ждали. Например, прелюбопытнейшую книгу французского астронома Камилла Фламариона «Множественность обитаемых миров» и, что особо примечательно, книгу немецкого экономиста Карла Маркса под названием «Капитал», привлекая особое внимание в Петербурге. Теперь, господа, она есть и в Томске.

— Ха, «Капитал»! О чем же, Северьян Архипыч, сей труд? Как стать богатым или про что-то более занимательное? — подал голос Ефрем Маркелович. Розовощекое лицо его отражало насмешливое любопытство.

Шубников не подал виду, что перебивать его не следовало бы. Но он увидел, что Петр Иванович ласково смотрит на гостя, степенно поглаживая бороду, и понял, что хозяин реплику Ефрема Маркеловича считает вполне уместной. Шубников, сделав легкий поклон в сторону гостя, сказал:

— Если обобщить, то эта книга о том, как и по каким законам формируется капитал, как он обретает дьявольскую силу и как поработает людей.

Предчувствуя, что Ефрем Маркелович готов задать еще вопросы, он опередил его ироничное любопытство.

— Книга «Капитал» столь сложна, что требует и значительной подготовки, и прилежного изучения. Я же, не вла-

дея фундаментальными знаниями экономики, ограничусь лишь этой краткой характеристикой...

Потом Шубников рассказал и о букварях для сельских школ, и о лубочных картинках для крестьян, которые книгоноши Петра Ивановича развозили по деревням Сибирского тракта. Наконец, Шубников вытер пот со лба ослепительно белым платком, и завершил свое выступление благодарностью за внимание, изящно извинившись за, так сказать, шероховатость стиля.

Раздались аплодисменты и общий гул одобрения. Петр Иванович, сощутив глаза, осмотрел зал, отметив раскрасневшиеся лица курсисток, блаженную улыбку начальницы женской гимназии, расслабленность позы помощника прокурора, воодушевление на лицах молодежи.

«Всем на этот раз угодил! Для всех товар доставил!» — с гордостью подумал Макушин и громко объявил:

— Господа! Пожалуйста на чаепитие. Наш земляк Африкан Голь-Перекаточный обещал познакомить нас со своими последними творениями!

... Собравшиеся разбрелись по торговому залу. Разом слышался шелест страниц, а кое-где восторженные реплики тех, кто обнаружил нужное им. Воистину среди чудес человеческого разума, может быть, самое удивительное — книга.

Глава 4

Разошлись чуть ли не за полночь. Шубников поспешно направился к своему дому. Но едва завернув за угол, столкнулся с Ефремом Маркеловичем. Экий быстрый! А ведь с виду нетороплив и, пожалуй, даже тяжеловат в движениях.

— А я вот поджидаю тебя, Северьян Архипыч. Ну, братец мой, позволь признаться! Доводилось мне слыхивать у Петра Иваныча грамотеев-краснобаев, а уж ты всех выше. Петр Иваныч наш — душа добрая, козявку зазря не обидит,

вокруг него всяких встретишь — и стоящих, и трепачей первостатейных... Ну, слышал ли ты этого Голь-Перекаточного? И это поэзией называется? Муть зеленая! Убей меня, но ни слова не запомнил. То ли дело Некрасов! Аж слеза в сердце закипает... А сам-то Макушин понимает, чего стоит этот Голь-Перекаточный? Ему же пятак в базарный день, а ведь, вишь, приходится ладить и с такой шантрапой, чтоб все было чин по чину, как в Петербурге. Да и сам, небось, видел, как глядят на него эти особы из гимназий. Прямо жаром пышут, что печи голландские...

«Зачем он все это мне говорит?» — недоуменно подумал Шубников, однако, вспомнив, как почтителен был с ним Макушин, осторожно ответил:

— Ну... я бы не был, Ефрем Маркелыч, столь резок в оценке его стихов. Все-таки поэт местный и, понятно, самодельный. И сравнивать его с нашими знаменитостями не совсем, скажем, ловко. Но ведь нельзя не отметить и его наблюдательность, и благородство чувств. Как трогательно описал он бродягу... Нет, Ефрем Маркелыч, тлеет в нем искорка, что ни говори...

Лампа уличного фонаря угасала. Шубников с трудом различал лицо Ефрема Маркеловича. А так хотелось разглядеть в его глазах, что же он задумал? Такой впустую слов тратить не будет.

— А бог с ним, с этим Голь-Перекачным! Может быть, и в самом деле несправедлив я. Пусть себе строчит галиматшью. Вреда особого нет, и на том спасибо.

— Я хочу тебе, Северьян Архипыч, совсем о другом сказать. Приезжай-ка ко мне в Подломное ближе к осени. По нашим местам в эту пору сухо, солнечно. И в тайге к тому времени поспеют и орехи, и ягоды. Дичь сама в руки идет, что боровая, что озерная. И рыбалка с добром! Приезжай! Книжки — дело головомное, от них и свихнуться недолго. А я тому уже поспособствовал. Спросил Петра Иваныча, старшего-то намерен ли по тракту пускать или при себе

держат будешь? Ну, а он, мол, с какой такой стати все время при себе держать? Пускай, говорит, посмотрит округу. И непременно, сказал, в поездку по тракту отправлю, коли сам не откажется. Надобно, говорит, школам и библиотекам моим ревизию навести, как и что там? Не раскуривают ли мужики книги, не обижают ли учителей, в достатке ли еды у них. Все ведь они нищие, у иной учительницы к зиме и обуться не во что, и плечи прикрыть нечем. А Петр Иваныч — он заботливый, сам из таких вот вышел.

А уж ты, Северьян Архипыч, непременно доволен будешь. Домик у меня в Подломном просторный, и заимка поблизости есть. Там совсем рай. Есть где и дух перевести, и телу отдохнуть...

Шубникова подумал с облегчением: «А я-то вообразил невесть что! А человек ко мне с почтением и добром. Что же я такой мнительный?!»

— Спасибо, Ефрем Маркелыч! — поблагодарил Шубников. — Коли будет дело по хозяйскому повелению — не откажусь, любопытствую посмотреть сибирскую тайгу в натуральном разрезе. Заманчиво весьма...

Шубников поймал в темноте руку Ефрема Маркеловича, крепко пожал ее. И тот напоследок сообщил:

— Ну, я еще разок-другой объявлюсь. Петр Иваныч, дай Бог ему здоровья, еще одну школу на тракте решил построить. А по мне — так лучше десять! Топоры у моих плотников острые, всегда наготове. До встречи, Северьян Архипыч! Я-то раным-рано уеду, чтоб до жары подальше проскочить...

Он исчез в ночи. И только скрип его сапог в галошах долго еще доносился из темноты.

Нет, положительно Петр Иванович Макушин великолепный человек! Служить у него одно удовольствие. Никого не унижает, ни перед кем не старается выставить свое превосходство, достаточно строг в делах, но любит и пошутить — нередко и сам над собой. С Шуб-

никовым держится настолько учтиво, почтительно, что временами кажется, будто не он, Макушин, голова всему предприятию, а как раз Шубников.

В конце августа опять появился в Томск Ефрем Маркелович, как всегда громогласный, пышущий здоровьем, в неизменных сапогах с галошами, в тройке с пливовой поддевкой, и шляпе пирожком.

Макушин уединился с ним в своем кабинете. Долго о чем-то они разговаривали, а потом хозяин позвал Шубникова.

— На совет просим, Северьян Архипыч, — сказал он, озабоченно поглядывая на Шубникова. Макушин придвинул стул, пригласил старшего приказчика присесть:

— Планируем мы тут с Ефремом Маркелычем, что рубить дальше. И вот что получилось. Благодаря вашему прилежанию книг и учебных пособий за это время мы продали в два раза больше, чем в прошлом году. И потому решил я построить не одну школу, как замышлял, а сразу две: в Большой Дороховой и в Малой Жирове. Вот и Ефрем Маркелыч говорит: так куда ловчее со всех сторон...

— Еще бы! — воскликнул тот, сверкнув синими глазами. — И лес, получается, со скидкой продадут, и кирпич с железом обойдутся дешевле, да и плотники уступят. Как-никак не один дом рубить, а два. А переехать с места на место я им подмогну. Дам двух коней да пару телег... Даю слово, Петр Иваныч, на будущую осень пойдет детва в школы.

— Уж постарайся, Ефрем Маркелыч! До кой же поры плодить будем неграмотных!? Сибиряки-то чай не хуже других? Им тоже свет просвещения нужен.

— Похвальны ваши заботы, Петр Иваныч. Знаю, что люди не забудут ваших стараний, — сказал Шубников, понимая, что хозяин не ищет в новом начинании никакой особой корысти.

— И непременно, Северьян Архипыч, библиотеки при школах откроем. По сотне книг в каждую пошлем. Пусть и дети, и взрослые читают для просвещения ума своего.

— Ну, что же, с этого дня и начну откладывать книгу за книгой.

— Почему бы и нет? Но тут одно заделье к вам имеется, Северьян Архипыч. Надо бы проехать до этих деревень, посмотреть, где школы-то рубить будем. Ефрем Маркелыч содействия просит. Ум, говорит, хорошо, а два лучше. Что если вам отправиться теперь же? Погода ясная. Гнус на полях притих, морозцем уже прихватило. А заодно денька три-четыре у Ефрема Маркелыча погостите. Тайгу настоящую посмотрите. А я вместо вас на складе пересажу — а то в глазах рябит и в голове кружение.

— И я рад буду оказать почтение такому гостю! — ударил в ладоши синеглазый подрядчик.

— Премного благодарен, Петр Иванович. Сказать откровенно любопытствую я на тайгу посмотреть, да и по тракту дальше проехать. Говорят, что тракт этот, за Томском уже Иркутским зовется?

— Именно так, — подтвердил Макушин. — А теперь отправляйтесь к делам, а мы с Ефремом Маркелычем еще кое о чем помаракуем.

Шубников встал, слегка поклонился и вышел за дверь.

Глава 5

Всю дорогу от Томска до Подломного Ефрем Маркелыч Белокопытов рассказывал о тракте, по которому ехали. Шубников слушал, насупившись, хмуро поглядывая по сторонам. Да и как иначе можно было отнестись к этим местам, если за каждым поворотом однажды непременно произошло смертоубийство. Здесь вот почту с деньгами варнаки подрезали. Тут в лесочке сноха свекра зарубила, чтоб его торговым капиталом завладеть. А вон в том логу шайка разбойников царев обоз с золотом подломила. Оттого и называли деревню Подломное. Словом, было тут от чего загрустить.

Но чем дальше ехали, тем чаще в перелесках мелькали добротные дома хуторян под новыми тесовыми крышами, с высокими заборами и украшенными затейливой резьбой воротами.

«Хорошо живут, ладно. И не верится, что по тракту сплошь душегубство творится», — думал Шубников.

— А что, Ефрем Маркелыч, по хуторам не разбойники часом прячутся? — полюбопытствовал Шубников, когда неподалеку от дороги, в березняке мелькнули постройки.

— Упаси боже! Работающие мужики тут живут. Гнут храп от темна до темна. Прежде чем из землянки в дом перебраться, иной сто шкур с себя сдерет. А варнаки, те все пришлые — с Сахалина, из Нерчинска или еще каких каторжных мест. Вырвутся на волю и дуреют, как застоялый конь. Шалый народишко до безумия! Многие так и живут: сегодня сбежит, покуролесит, а назавтра снова с бритой головой!

— Вот и на Барабе Петр Иванович кресты мне показывал...

— По всему Сибирскому тракту кресты, Северьян Архипыч. От Владимира до самого Тихого океана. Тракт, как жила — вся кровь по нему течет: и скотинка, и людишки, и товары, и золотишко. Жизнь тут сильно непричесанная. А что делать...

Перед селом Подломным местность заметно переменилась. Лес стоял темный, густой — пихта да ельник. Березы кое-где, прижатые к самой дороге, стояли будто сиротки. Тракт уходил под откос, все вниз, вниз, будто в пропасть. Из леса пахло гнилью, в глаза бросилась прозелень болот. Да и небо как-то померкло.

— Как сумрачно! Экая же дремучесть! — не удержался Шубников, отчетливо представляя, как тут можно было «подломить» обоз с золотом.

— Ничего, сейчас переменится! — утешил его Белокопытов. Он прикрикнул на коней и взмахнул ременным

бичом. И правда, вскоре дорога запетляла в гору, темный лес отступил, переменились и запахи — чище стали, прозрачнее, будто родниковой водой промытые. А еще через полчаса Шубников увидел длинную-предлинную улицу и крепкие бревенчатые дома.

— Вот мы и дома, Северьян Архипыч! Чуток отвернем в сторонку — и тут как тут мое гнездо.

Усадьба Ефрема Маркеловича Белокопытова стояла особняком от деревни. На крутом берегу желтел на кирпичном фундаменте крестовый дом с пристройкой в два этажа. Дом был новый, в светлых смоляных каплях, не успевших еще потемнеть от дождей и ветров. Над крайним окном — доска с витиеватым узором выжженной надписи: «Белокопытов Ефрем Маркелович с сыновьями». Прямо как у заправского городского купца, да только это претензия, не более того, а может быть, мечта, выраженная столь откровенно. Далеко еще Ефрему Маркеловичу до гильдии, но, по правде сказать, живет справно, не тужит, надеется на большее.

Кони остановились у ворот круто, еще чуть-чуть и вышибли бы их головами. Коренной жеребец заржал тонко и радостно. Из глубины двора послышалось ответное ржание: мать-кобылица признала сына, откликнулась на его известие о прибытии с дальней дороги протяжным рокотком: го-го-го!

— Эй, Харитон, открывай ворота! Ты что заснул, чели?! — закричал Ефрем Маркелович повелительно. Собаки во дворе, заслышав голос хозяина, преданно завизжали. Хозяин платил за это щедрой кормежкой, лаской и свободой от цепей на целую ночь.

Как крылья большой птицы, распахнулись створы ворот настежь, и открылся взору двор: трехэтажный амбар с клетью, коровник и загон для овец. А в самой глубине двора — навес, заставленный телегами, санями, кошевыми. За двором, в открытую калитку виден был огород,

речка, а на спуске к ней — баня с трубой. Эге, богатая баня, по-белому топится!

Харитон, рослый мужик с черной цыганской бородой, кинулся к лошадям, но хозяин остановил:

— Перво-наперво, Харитоша, поклажу в дом снеси. Это вот чемодан барина. Его — в покои на втором этаже, а вот эти ящики и коробки — ко мне в «кабинетную». И скажи Устинье, пусть баньку протопит, пропылились мы в дороге изрядно.

— Все справим, Ефрем Маркелыч,— заверил Харитон и, разом схватив чемодан и коробки, заспешил в дом, кряхтя от натуги. Навстречу ему вышла Устинья — высокая, дородная женщина, с покрасневшимся лицом, в цветастой кофте и юбке с оборками, поверх которых был фартук с вышивкой по подолу. Харитон передал ей просьбу хозяина.

— А ведь как знала! Воду в баню еще в обед натаскала, каменку дровами заправила,— Устинья погремела коробком со спичками. Увидев с хозяином чужого человека, услужливо склонила голову: — Нет ли чего еще унести, Маркелыч?

— Ты баньку поскорей подготовь! А где ребятенки-то?

— А где ж им быть? В поле! Опять, видать, с учительшей стрекоз ловят. Уж ее медом не корми, а дай погоняться за стрекозами,— хмыкнула Устинья.

— Ну и пусть себе ловят! Кому забава, а кому и наука.— Подрядчик значительно, с поощрением посмотрел в открытые ворота на широкую поляну, заросшую пожелтевшим разнотравьем, где гуляли его дети с учительницей. А Шубников понял этот взгляд. Вот, мол, и дети есть, и учительница при них. Уж не такие мы темные, хотя и живем в тайге.

— Мы первым делом в баню, Федотовна, а уж потом обед подавай.

— Дак ясное дело, Маркелыч! — воскликнула Устинья и бойко заторопилась к бане.

Шубников стоял возле тележки, приглядывался к людям, о которых не имел ни малейшего представления. Да и о самом Белокопытове много ли он знал? Знал лишь то, что живет подрядчик в деревне и по договору с Макушиным строит на его капиталы школы для крестьянских детей. И, пожалуй, еще то, что умен, грамотен, сметлив, любит книги и посещает сборища томских грамотеев.

Шубников пожалел, что за столь долгий срок службы у Макушина так ни разу не расспросил купца о Белокопытове. Да теперь уж поздно было жалеть об этом! Ефрем Маркелович пригласил его на крылечко широкооконой двухэтажной пристройки...

Оказавшись в доме, Шубников подивился тому, что все тут было на городской манер. Верх пристройки, куда провёл его хозяин, был разделен на две комнаты. В первой — рукомойник, диван, стол с тумбами, полированные стулья. Во второй комнате — деревянная кровать, покрытая белоснежным покрывалом, столик с лампой под абажуром и книжный шкаф со стеклянными створками чуть ли не во всю длину стены. Книг, правда, пока маловато, полки не заполнены, но, видно, это дело ближайшего будущего.

— Вот тут, Северьян Архипыч, и располагайся как дома. Никто без надобности не потревожит, — сказал Белокопытов.

— А вид-то какой, господи! — ахнул Шубников, подойдя к окну, за которым виднелась река, густой кедрач, поля в редких перелесках и горизонт, подернутый позолотой.

— Ну и хорошо, что тебе по нраву, Северьян Архипыч, — не скрывая радости, сказал Белокопытов. — Располагайся покамест, а потом сходим в баньку, пообедаем или уже поужинаем чем Бог послал.

Шубников, оставшись один, щелкая замками, стал открывать чемодан. Только было взялся за пижаму, вдруг по окну промелькнула тень, будто птица порхнула в стремительном полете. Шубников пригляделся и обнаружил

причину. Перед домом был бугорок, посередине которого стоял столб в железных обручах и с канатами, спускавшимися с крестовины, закрепленной на самой макушке. «Качель-исполин!» — вспомнил свое детство Шубников. Возле качели сутились человеческие фигуры: две детские и женская. Ухватившись за концы веревки, они бегали вокруг столба, подскакивали и, подобрав ноги, повисали на канатах. На женщине парусила юбка, развевались волосы, белели открывшиеся ноги. Задорным криком она подбадривала детей. Дети вдруг что-то заметили и остановились, и Шубников услышал:

— Тятенька приехал! Гостинцы привез!

И два мальчика с выгоревшими добела волосами и похожие друг на друга так, что Шубников сразу не смог бы различить их, кинулись через поляну к дому.

— Тише! Тише! Никуда он не денется! — кричала им вслед учительница, стараясь их нагнать.

Глава 6

Теперь Шубников сумел разглядеть ее. Высокая, гибкая, со светлыми распущенными волосами, в длинной синей юбке и белой кофточке с коротким рукавами. Она бежала легко, ловко перепрыгивая через кочки и ямки. «Видно это и есть учительница, которая за стрекозами гоняется», — улыбнулся Шубников. Мальчики скрылись во дворе. А девица, остановилась у калитки, пригладила волосы и не спеша вошла во двор. «И как ее сюда занесло?» — почему-то с сочувствием подумал Шубников, пожалев, что не успел рассмотреть ее лица.

По дороге из Томска Ефрем Маркелович рассказывал Шубникову, что вот уже три года минуло, как умерла его жена во время родов. Ждали они дочку, а случилось так, что ни жены, ни дочери... Случилось у ребенка и матери какое-то воспаление, и даже томские профессора, медицинские светила, не смогли ничего сделать.

В округе сочувствовали его горю. Но многие утверждали, что вдовцом ему недолго ходить: мужик видный, состоятельный, характера ровного, да и есть куда привести новую жену. А желающих войти в дом Белокопытова новой хозяйкой было хоть отбавляй! А вот только не угадали люди. По спешке своей в умозаклучениях, по легкомысленной болтливости нагородили околесицу. Замкнулся в своем горе Белокопытов, зачастил в церковь, срубил на косогоре за деревней часовню и освятил ее благочинный в честь Пресвятой Ксении, именем которой была наречена покойная супруга Ефрема Маркеловича. А тут как-то по зиме еще, произошел случай, который снова возбудил всех в округе: Ефрем Маркелович привез из Томска молодую учительницу для своих сыновей-близнецов, чтобы обучать грамоте и манерам, как в богатых городских семьях. И вот тут-то людишки развязали языки, и пошел по всему тракту звон-перезвон: Маркелыч-то, подрядчик,

новую супружницу из города привез, видать, побрезговал нашей деревенской бабой. Да и что говорить, красив собой и деньжонки к рукам хорошо прилипают. Только и на этот раз прикусили языки охочие до всяких сплетен трактовые краснобай. Учительница поселилась не в доме Белокопытова, а на деревне у лавочника Охрамея Пепеллеткина. На непотребное сожительство хозяина с учительницей и намека не было. Утром она шагала к дому Белокопытова с книгами, в обед возвращалась на квартиру, а в ужин снова шла в белокопытовский дом, чтоб забрать мальчишек и увести их на прогулку в кедровник, на луга или берег реки. И получалось так, хоть лопни, а не складывались сплетухи о Белокопытове и учительнице.

Когда Белокопытов и Шубников вернулись из бани, у Устиньи все было готово для гостевания. Стол покрыт скатертью и заставлен корниловским фарфором да грачевским серебром. Но куда больше впечатляли запахи и ароматы, щекотавшие ноздри и раскатывавшие слюну по языку до самых губ. «Экая мастерица Устинья! В бане квасом с медом угощала, а теперь вот закусками удивляет, каких ни в столице, ни в Москве не сыскать», — подумал Шубников и сел на стул, который любезно подвинул Белокопытов.

— А не позвать ли, Северьян Архипыч, Virginию Ипполитовну, учительницу нашу, разделить с нами общество? — несколько смущенно взглянув на Шубникова, спросил подрядчик.

— Отчего же не позвать, Ефрем Маркелович, как вам будет угодно... Буду рад... — ответил он.

Белокопытов велел кухарке позвать учительницу к столу, но едва та направилась к двери, поспешно вскочил:

— Управляйся-ка, Федотовна, тут. Я сам схожу.

Когда он вернулся, на круглом лице его светилась улыбка. Он бережно поставил тарелки туда, где, как догадался Шубников, отводилось место учительнице. Потом сел,

внимательно осмотрел стол: все ли, мол, в порядке. Она действительно не заставила себя долго ждать. Двустворчатая дверь открылась, и учительница вошла левым плечом вперед, навстречу предзакатному свету, лившемуся в окна.

Шубников отметил, что и теперь его впечатление осталось тем же, что и в первый раз. Совсем молодая. Светло-русые волосы собраны под гребенку-заколку. Взгляд упрямый, но смягченный грустной усмешкой, как бы говоривший: «Уж не задумайте о себе придумки рассказывать. Знаю я, все про вас знаю». Эта усмешечка чуть настораживала. Но через мгновение эта усмешечка будто растворилась, и лицо ее засияло белозубой улыбкой. Шубников встал. Поднялся и Белокопытов.

— Virginia Ипполитовна, вот мой гость, Северьян Архипыч Шубников. Служит у Петра Ивановича Макушина главным помощником. Прибыл в наши края аж из самого Петербурга.

— Здравствуйте, Северьян Архипович. Спасибо, что приехали к нам из такой дали. Может быть, и новости столичные привезли? А меня зовут Virginia Ипполитовна, а фамилия моя Францева. Ехала учительствовать в иные места — аж за двести верст от Томска! — да вот Ефрем Маркелыч по пути перехватил.

Она пожала руку Шубникову твердо, почти по-мужски. На лице ее не отразилось ни скрытого волнения, ни обычного в таких случаях смущения от встречи с незнакомым человеком. По натуре Шубников был достаточно застенчивым, если не сказать робким. Все представлялось ему более сложным. И перед приходом учительницы он успел-таки поволноваться: «Как же я буду перед ней выглядеть? Достойно ли? Не покажусь ли столичной пустышкой?»

Ее спокойствие, простота тона, располагающая улыбка, а особенно осязаемое рукопожатие успокоили его. «Самостоятельный человек! Без дамских всхлипов и сладостей...

Господи, помоги мне, грешному!» — пронеслось разом в голове Шубникова.

Не скрывал своего волнения и Ефрем Маркелович. А уж кто-кто, а он умел в любом обществе оставаться самым собой. А тут и у него самоуверенные интонации пропали. По обыкновению Белокопытов обращался со всеми на «ты», так сказать, за всяк просто, но тут что-то не позволяло ему быть с учительницей запанибрата. И ни разу не оговорился, хотя и сыпал словами без удержу.

— Вот и хорошо, Virginia Ипполитовна, что пришли посидеть с нами. Петр Иванович так сказал: «Повози-ка Северьяна Архипыча по нашим просторам. Пусть посмотрит, какова она, наша матушка-Сибирь, пусть сам увидит, что зазря на нее напраслину возводят, будто наш край сплошной хлад и мрак. Не так ли, Virginia Ипполитовна? Уж вы-то осмотрелись у нас за то время, что живете здесь...

Virginia Ипполитовна, склонив голову на бочок и поглядывая то на Шубникова, то на Белокопытова, всплеснула руками. В последних лучах солнца на мизинце ее сверкнул бриллиант в перстеньке, указывающий, что женщина она незамужняя, свободная, куда, мол, хочу, туда и лечу.

— Ах, Ефрем Маркелович, сказать, что вы угодили мне своим приглашением, все равно что ничего не сказать! Сегодня на душе у меня как-то особенно одиноко. Хотела в играх с детьми развеяться, но лишь на миг удалось. Втихомолку чуть не заплакала...

— Не мои ли баловники обидели вас? Вы бы построже с ними, Virginia Ипполитовна. А то я им перцу задам!

— Да, что вы! Мальчики очаровательные. И не трогайте их, пожалуйста, без повода,— убежденно сказала Virginia Ипполитовна и полуобернулась к Шубникову: — Как вы-то себя чувствуете, Северьян Архипович? Не возникло ли желание побыстрее возвратиться в Петербург? — учительница впервые посмотрела на Шубникова

в упор, и взгляд ее глаз был одновременно и ласков, и мягок, и серьезен.

— Слишком мало еще живу в Сибири, чтобы иметь о ней представление. И к тому же ежедневная работа забирает и силы, и время. В душе не остается места для мечтательного взлета к новым надеждам,— сказал витиевато Шубников, и по тому, как вздрогнули брови у Виргинии Ипполитовны, понял, что слова его не понравились женщине. И он заговорил без красивостей.— Договор у меня с Петром Ивановичем на два года. А как поживу подольше — тогда посмотрим.

— Что там, в России слышно? Вокруг чего кипят страсти? — спросила Виргиния Ипполитовна.

«Вот она какая! На политику разговор поворачивает... Не силен я по этой части, но от ответа не уйти», — с беспокойством подумал Шубников и нарочно не спеша, а как бы примеряясь к собеседнице, сказал:

— Судя по всему, граф Лев Николаевич Толстой вышел на поединок с Двором. Число сочувствующих ему выросло многократно.

Вероятно все, что сказал Шубников, учительнице показалось излишне общим, известным. Она собрала тонкие губы в трубочку, подула изящно на горячий соус и твердо сказала:

— Граф ничего не достигнет. Помочь крестьянам может только их совместный труд, совместные усилия. И возглавлять их должен кто-то из их среды, а не граф. Неравенство поводыря с ведомой паствой никогда еще не приносило успеха...

«Умеет говорить!» — подумал Шубников, любивший полновесное и наполненное смыслом слово и логику аргументов.

— С вами не поспоришь, Виргиния Ипполитовна! — воскликнул Шубников.— А вот только учтите: пусть колокол и неподвижен, но набат его потрясает целую округу, волнует и зовет к действию.

— Вы правы, Северьян Архипыч! Конечно так!

Ефрем Маркелович, слушая с напряжением гостей, понял, что их беседа начинает по выражам подниматься к той точке, о которой по простодушию потом можно сказать, что поговорили всласть. Да вот только пользы от такого словоречения — пшик.

— Чтоб народ до жизни хорошей дошел, Виргиния Ипполитовна, надо мастерам дать простор,— заговорил Белокопытов.— А откуда ему быть? Вот для примера, наш Сибирский тракт. Тут один лишь Петр Иванович строит. Но где ж ему одному охватить этакую махину. Почему бы купцам Кухтерину, Шуксману, Второву не подсобить и Макушину, и тракту? Мосты построить, переправы на паровую тягу перевести, новые постоянные дворы срубить. Приходилось мне как-то с важными фельдъегерями подъезжать. Уму, говорят, непостижимо, какое неустройство на тракте. Местами лошади в грязи увязают по самые лопатки. Маята одна и растрата сил и веры в Господа Бога... А ведь коли рукастых мужиков с топорами на эту нужду бросить — скатертью тракт покроют.

Шубников бегло переглянулся с Виргинией Ипполитовной и понял, что и она думает о том же: неучтиво будет с их стороны не откликнуться на рассуждения хозяина, сделать вид, что эта тема не по их нутру.

— Истинно так, Ефрем Маркелыч! Когда мы с Макушиным ехали через Барабу, насмотрелся я на партии ссыльных и обозы переселенцев. Несчастные! Арестанты мрут на ходу под цепями, а переселенцы чуть прикрыты лохмотьями. А дожди, стужа по ночам, хотя лето на дворе. А зимой что? О господи, и за что такая горькая доля русскому человеку?! — голос Шубникова напрягся.

— А сколько слез пролито... — прошептала Виргиния Ипполитовна.

Все замолчали. Стука ножей и вилок больше не слышалось.

— Ох, извините, сплеховал малость,— вдруг спохватился Ефрем Маркелович,— может кто желает водочки или наливки рябиновой? Сам-то я с малолетства к этому не обвык...

— Спасибо. А вот только и я непьющий. Таков завет от моего дедушки,— сказал Шубников.

— Ну, а я вот выпью, если позволите, Ефрем Маркелыч.— Виргиния Ипполитовна грустно усмехнулась, подставляла стопку ближе к хозяину.

— На доброе здоровье! Тогда уж и я с вами.— Белокопытов наполнил стопку водкой до краев, подал одну учительнице, вторую зажал в крепких пальцах. Чокнулся с гостей.

— Ну, дай бог не по последней!

Виргиния Ипполитовна выпила залпом, опередив хозяина, закусила, как заправский пьяница, кусочком ржаного хлеба и сказала:

— Не вообразите, будто пьющая я. Редко бывает. Просто сегодня на душе как-то тяжело.

— Может быть, смогу помочь чем-то? — осторожно спросил Шубников. Виргиния Ипполитовна резко замотала головой:

— Не обессудьте! Сама не люблю себя такой.

— А может еще рюмочку наливки? — предложил Белокопытов.— И я бы вместе с вами. За здоровье, например, Северьяна Архипыча. Пусть ему живется хорошо в Сибири.

«А ухватки-то у нее мужские»,— подумал Шубников, поблагодарив за внимание к своей особе.

— Надолго в наши края, Северьян Архипыч? — учительница раскраснелась, оживилась, стала еще привлекательнее.

— Никак не более четырех дней намерен провести в этом доме. По делу мог бы и ранее отбыть, но Ефрем Маркелыч зовет на заимку, чудеса природы хочет показать,— сказал Шубников.

— Ишь он какой, наш Ефрем Маркелович! Вас везет, а мне пока лишь только обещает,— бросив на Белокопытова лукавую улыбку, сказала Виргиния Ипполитовна.

— Пренебреженно свожу! Вы тут, в Подломном, постоянно, а Северьян Архипыч был вот, да сплыл,— развел руками Белокопытов и посмотрел на учительницу чуть растерянно.

— Да я не упрекаю, у нас еще будет случай.

— Будет непременно! Как скажете, так и будет.

«А нет ли между ними чувств?» — подумал Шубников, заметив ее улыбку и растерянность Белокопытова, но промелькнувшая мыслишка тут же улетучилась из головы. На лице женщины — простота, ясность и никаких намеков на что-нибудь иное. А в голосе — твердость, может быть, даже излишняя. И это при ее-то красоте.

На дворе совсем стемнело. Ужин закончился. Виргиния Ипполитовна стала собираться домой. «Неужели он не проводит ее?» — подумал Шубников, раздумывая, не предложить ли ей свои услуги.

— Одна не опасается? — спросил он. Не успела она ответить, как заговорил Белокопытов:

— А кого тут опасаться? У нас тут мирно. По следам друг дружку узнаем.

— Прощайте, Ефрем Маркеловичч. Доброго отдыха, Северьян Архипович,— громко сказала учительница и не спеша вышла из дома в темноту непроглядной ночи.

Мужчины молчали, прислушиваясь к ее шагам, к визгу собак, к стуку калитки. И хозяину, и гостю было жаль, что она ушла. Словно оборвалась какая-то светлая ниточка. И стало на душе неуютно и одиноко.

Глава 7

А рано утром Белокопытов и Шубников уехали. Телега была загружена ящиками, бочонками, узлами. Хозяйство на заимке немалое, надо было и то и другое подвезти. Так объяснил Белокопытов. А ведь, кроме охоты, рыбалки, добычи кедрового ореха и ягод, в двух верстах от заимки — пасека на триста ульев. И об этом надо заботиться, чтоб не пошло добро прахом.

Ефрем Маркелович по дороге поведал гостю о своем житье-бытье. Не обо всем, конечно, подряд, а с выбором. Отец его Маркел Савельевич Белокопытов умер сорока семи лет от роду. А вскоре, как говорят, и жену позвал за собой. Ефрем молодой и неразумный остался один-одинешенек. Угляди-ка за всем! Ладно, что бабенка, с которой успел Ефрем обвенчаться по родительскому благословению, оказалась ухватистая да расторопная, как мельница, — и жернов крутит, и воду на поля качает, и муку в мешки ссыпает. И откуда бы ей все хозяйские премудрости знать? А потому, что росла сиротой, ходила по людям из деревни в деревню, чтоб кусок хлеба заработать, да лоскут холста припасти, чтобы прикрыться. Знала цену копейке! Поначалу люди шутили: «Вот, сошелся черт с младенцем. Пустит Ксюха двор Белокопытовых по ветру». А вышло все наоборот — Ксения в Подломном дом в узде держала, а сам Ефрем на заимке и по округе вожжами правил! Прибыток с заимки от промыслов, от подрядных работ на тракте, от дойных коров, от продажи ржи, овса, гречихи, меда, воска шел в один котел. Будто сам Господь подрядил Белокопытову способствовать во всех делах. Да только вечно ли это благоденствие? Удача и беда по соседству ходят. Ну, а из всех бед, одна из самых тяжких — остаться в молодости вдовцом. Недаром говорится: лучше три раза погореть, чем раз овдоветь. Ушла Ксения, и закачался дом Ефрема. В одном углу щель, в другом — прореха, успевай

только поворачиваться. Кинулись к Ефрему со всех сторон свахи: «Женись поскорее, мужик, пока не пошел твой очаг на развал». А Ефрем Маркелович о женитьбе и слушать не хотел, ни к одной невесте не лежало его сердце. И принадлеж Ефрем Маркелович, рассчитывая лишь на собственные силы. Вот и гнет хребет с тех пор за двоих.

... До заимки было не близко. По дороге они вели разговоры о том о сем, подремывали, пригретые солнцем, пробовали вполголоса петь: «Степь, да степь широка лежит»... В одном месте на корнях лиственницы телегу так сильно тряхнуло, что вылетели из нее и покатались, подминая заросли иван-чая, бочонки, закувыркались ящички как живые.

Конь остановился, почуяв неладное. Белокопытов бросился подбирать упавший груз. Шубников стал помогать. Схватив ящик, зашитый в брезент и перевязанный шпагатом крест-накрест, но опустил его. Знаком был тот ящик ему до подробностей. Особо запомнилась буква Ф, выведенная черной мастикой на боковине. Именно такие ящики лежали в телегах, когда Шубников ехал с Петром Ивановичем в Томск. Их было всего-то штук пять, но почему-то именно к ним особо пристально отнесся каинский исправник Василий Васильевич Шароглазов. Поднимал, встряхивал, ощупывал. Возможно, что-то напоминало его, возникали какие-то догадки и подозрения. А может быть, в них-то и лежали предметы, которые не позволялось перевозить, согласно строжайшему наставлению из Москвы, потому что адресовались раскольникам. Но почему ящики эти оказались у Белокопытова? То, что их мог взять Макушин, Шубникова не удивило. Петр Иванович был человек не только добрый, отзывчивый к чужим просьбам, но и свободолюбивый, противник всякого гнета, а уж религиозного тем паче: кто во что желает верить, пусть себе верует. Но чтоб насильно обращать других в свою веру, это он считал откровенным варварством.

Шубников поднял другой ящик, положил его на телегу. Первым побуждением было сказать Белокопытову, что эти бандероли он уже видел по дороге в Томск, а заодно и поинтересоваться, этак запросто, что, мол, такое в них запечатано и почему каинский исправник Шароглазов был так подозрителен к этим ящикам. Но что-то остановило Шубникова. «А может быть, там что-нибудь тайное? В торговом деле немало потемок. Зачем лезть в чужие дела?» — решил он.

Белокопытов уложил в телегу все предметы, основательно прикрыл брезентовым пологом, и с усмешкой сказал:

— Вот, язви ее, как тряхануло! У меня аж в голове помутилось...

— А я вот ничего, — сказал Шубников. — Чутко, правда, коленку зашиб.

— Может, Северьян Архипыч, подорожник положить?

— Да не беспокойтесь, заживет!

— Ну, раз нет, так нет. Давай, давай, Пегарь, шагай веселее!

К заимке подъехали неожиданно. Березняк и осинник с обглоданными стволами деревьев — следы нашествия зайцев — кончился, стали попадаться островки кедрача, пихтовника, ельника, и вдруг из-за лохматых, разлапистых ветвей пятистенный дом, а за ним и амбар, и сарай с поленницей дров, две лодки, опрокинутые днищами вверх, шесты с металлическими крючьями, решета, на которых проветривают кедровые орехи, вентеря, морды из краснотала, пустые бочки, какие-то заготовки из кедровой древесины. Двор не был огорожен, однако обозначен кустами черемухи и рябины.

Шубников вспомнил восторженные слова Белокопытова о заимке и подумал: «Похвалялся зря, все здесь как-то обыденно». Но с этим умозаключением Шубников явно поспешил. Так, видимо, заимка и была задумана — стоять

на юру укромно, не выпячиваться. Да и не перед кем было, кругом лес, да небо.

Но обещанные красоты начинались буквально в пятидесяти шагах от дома. Белокопытов не стал откладывать знакомство с местностью. Приобняв Шубникова за плечи, он вывел его за полосу кедрача. И вот тут-то гость замер. Поблизости в ложбине, окаймленной разнолесьем, нежилась в тихой неподвижности озеро. Берега его то отлогие, припадающие к самой воде, то вздыбленные, как сохатый в прыжке, тянулись до горизонта и смыкались с сиреневыми кедровыми урманам.

— А рыбы тут, а уток, а по лесам лосей и медведей — бесчисленно, — окидывая рукой озеро, сказал Белокопытов.

— А пасека?

— А вот сюда, в сторонку, — кивнул Белокопытов.

— И безлюдье на многие версты?

— Да нет. Жмутся людишки к воде — и инородцы, и всякий другой пришлый люд. А чувствуешь, Северьян Архипыч, какие запахи тут, как легко дышится. — Белокопытов раскинул руки и с шумом стал втягивать воздух. Шубников не удержался и тоже глубоко потянул ноздрями ароматный воздух, да так глубоко, что в виски ударило.

— Ну, вот и причастились! А теперь пошли в дом, Северьян Архипыч! — засмеялся подрядчик.

Вечером, наслаждаясь тишиной и прохладой, наполнявшей от озера, Белокопытов и Шубников до полуночи сидели у костра.

Для Шубникова все было вновь: темное небо в звездах, скачущие тени от костра, громкие всплески обвалов подмытых яров на озере.

— Завтра поутру, Северьян Архипыч, надо мне одно дельце справиться. На рассвете я верхом отправлюсь до кедровых делянок, посмотрю, не послать ли артельку орех промыслить. Надо бы пуд-другой маслица припасти на зиму. Да и ребятенки погрызть любят. А уж Петр Ивано-

вич как благодарствует, когда привожу ему таежный го-
стинец.

— А мне чем заняться, Ефрем Маркелыч? — спросил Шубников.

— Спи, Северьян Архипыч, сколько влезет. А как встанешь, я к той поре уже вернусь.

— М... м... — промычал Шубников, выдав свое беспокойство: быть одному в тайге ему не приходилось.

— А ты не бойсь, никто тебя не тронет. Зверь и близко к заимке не подойдет. А приходит сюда только мой пасечник. Да едва ли он появится в эту пору. Нынче у него последний сбор медов.

— Ну, ладно...

— А вон на стене и ружье, и кинжал. При крайнем случае голый рукой тебя не возьмешь, — усмехнулся Белокопытов и добавил: — Да я б тебя взял с собой, да дорога-то туда верховая. А конь один, а дальше моей заимки тележной дороги нет. Либо пешком, либо верхом. А мне край как надо ненадолго отлучиться.

Шубников спал плохо, можно сказать, не спал, а лежал с закрытыми глазами. Что-то тревожило его, но, если судить здраво, тревога-то была никчемной, без оснований. На рассвете Белокопытов, спавший в первой половине избы, осторожно встал, пошуршал возле печки, два раза звякнул ложкой о котелок, и вышел за дверь. И все затихло.

А Шубникова будто кто подтолкнул. Он вскочил с кровати, потер лицо ладонью и шагнул к окну. Белокопытов был от дома в пяти шагах. В утреннем сумраке Шубников увидел, как тот суетится возле коня, отчетливо рассмотрел сумы, перекинутые спереди и позади седла, в которые Белокопытов заталкивал бочонки, узлы и ящики. Нагруженный конь очень скоро превратился в бесформенное чудовище. Подведя коня к чурбаку, Белокопытов взобрался в седло и тихо отъехал от дома. Вскоре лес поглотил их, и за окном сомкнулся неподвижный сумрак.

Шубников бросился на кровать, лег на спину. «Что бы все это значило? Куда он поехал? Сказал, что будет смотреть кедровые участки, а сам загрузил коня до предела. Нет, что-то тут не то... Хитрит Ефрем Маркелыч. И зачем я ему доверился...» — проносилось в голове у Шубникова. Была минута, когда он хотел вскочить и бежать за Белокопытовым, но тут же остановил себя. «А если он к пасечнику поехал? Повез ему инструменты или посуду для меда? Вот и случится со мной конфуз. В самом деле, к чему такая горячка?»

Какое-то время он уговаривал себя, наконец успокоился и чуть-чуть вздремнул. Но часом спустя он вышел из дома, и небо в сумрачных облаках, и заунывный шум ветра, и тоскливый, хватающий за душу плеск воды в озере снова ввергли его в смятение. «Что-то недоброе задумал Белокопытов, иначе зачем ему таиться от меня?»

Шубников обеспокоенно ходил возле дома, на краю берега остановился, всматриваясь в чащобу леса. И все-то ему казалось, что кто-то приближается к дому. Не желая больше терзать себя разыгравшимся не в меру воображением, Шубников вернулся в дом, сел в угол под иконами и затих. Надо бы позавтракать, на столе — чашка с вареным мясом, краюха хлеба, завернутая в полотенце, из жбанка припахивало квасом. Но есть ему не хотелось.

... И вдруг в тишину дома ворвался отчетливый женский говорок. Он был невнятным, нескончаемо продолжительным, и разобрать в нем слова не удалось, но все отчетливее слышались интонации протеста.

— Это еще кто там?! — закричал Шубников и, вскочив, выбежал в дверь.

Глава 8

Белокопытов, взъерошенный и похожий на медведя, нес женщину. Полы ее домотканого зипуна свисали до земли,

но юбка из грубой холстины завернулась, оголяя ноги и бедра, чирики сползли со ступней и болтались, удерживаясь лишь на завязках. Она изгибалась, одной рукой отталкиваясь от груди Белокопытова, а другой цепляясь за его крепкую шею. В шагах десяти, покорно опустив голову, со сбившимся на брюхо седлом, стоял Пегарь.

— Куда вы меня несете? Заклинаю вас, отпустите! — кричала женщина истошным голосом. И кричала она по-французски.

Белокопытов что-то бормотал в ответ, и по тому, как он держал женщину, угадывалось, что он бережет ее, и ему не хочется сделать ей больно.

Уже возле дома Белокопытов опустил ее на землю. Шубников хорошо рассмотрел ее лицо белое как алебастр, трясущиеся губы, отчаянно черные глаза. Увидев Шубникова, она вскрикнула:

— Кто вы? Кто вас прислал сюда?

Она со страхом смотрела на него.

— Мадмуазель, вы не пострадали? Прошу вас, не бойтесь! — обратился к ней Шубников по-французски.

И тут Белокопытов, державший женщину за руку, рухнул на колени и закричал:

— Брат мой и друг, Северьян Архипыч, объясни ей мою душу, раскрой ей мое сердце. — Плечи его задрожали, рыдания стиснули горло, и он захрипел.

... Первый раз Ефрем Маркелович увидел ее в келье Манефы, настоятельницы раскольнического женского монастыря. Ранней весной, едва вытаили в Верхне-Юксинских лесах редкие тропы, Белокопытов приехал сюда с той же поклажей, что и теперь: в бочонках порох, в ящичках дробь, в коробках пистоны для шомпольных курковых ружей, в связках — книги и иконы.

Поставлять в женский монастырь охотничий припас завещал Белокопытову отец. Перед смертью он позвал сы-

на, поставил на колени около кровати и велел повторять за ним слова клятвы.

— Перед памятью предков своих клянусь, что никто, никогда, ни пытками, ни подкупом, ни лестью не выведает от меня эту тайну. Как неделимое наследие принимаю от отца моего повеление: пока живу на свете, поставлять преподобной Манефе тайные товары по ее заказу для охотничьего промысла и иные предметы раскольничьей веры. Аминь!

Сын поклялся сдержать наказ, поцеловал немощную руку умирающего отца и запомнил навсегда, в какое время и какими путями добираться до кельи Манефы. Стоило Ефрему Маркеловичу побывать здесь лишь раз, и тайна предприятия преподобной Манефы шире приоткрылась ему. Манефа снабжала остяков, тунгусов, чулымских татар, обитающих на этих таежных просторах, ружейными припасами в обмен на пушнину. Настоятельница брала соболей, выдру, колонков, горностаев, лисиц только отменного качества. Через томского купца-старовера пушнина отправлялась московскому купцу-единоверцу, а тот выставлял ее на пушных аукционах Петербурга, Парижа, Лондона, Вены и других европейских столиц.

Чтобы кругооборот не прекращался, требовалась исключительная скрытность. Откройся все это, дойди известия до властей, скит бы с землей сровняли, все тайные проделки матери Манефы наизнанку бы вывернули. От силы пять человек знали о делах Манефы, да и то не всё, а лишь ту часть цепочки, в которой они были задействованы.

Скит скрывался в таком уголке тайги, куда мог проникнуть лишь тот, кто знал тайгу и умел читать ее потаенные приметы. Монахини были расселены в землянках, в полуверсте друг от друга, прикрытых землей, а поверх замаскированных подлеском и кочкарником. Общая соборня была спрятана в овражистых развалах высохшего русла реки, проложившей себе новый путь.

Келья Манефы стояла на берегу озера, как и заимка Белокопытовых. Тропа к ней то проявлялась на холмах, то вдруг пряталась бесследно в зарослях ельника. Но приметы, о которых поведал отец Ефрему, оставались явственными, и Ефрем Белокопытов с первого раза безошибочно достиг цели. «Сынок отцу ни в чем не уступит», — оценила его Манефа.

Однажды Ефрем Маркелович появился у Манефы с очередным грузом. Появился, как и договаривались, — втайне и без отяжек. Старуха с батожком в руках, в домотканом азяме под опояской, встретила его с радостью. Еще бы! Истинную цену этого груза знала только Манефа, и Белокопытов, получавший за свои услуги изрядную награду, мог лишь догадываться о размерах ее барыша.

Келья Манефы представляла собой добротную избу, врытую наполовину в землю и обнесенную со всех сторон чащей. При входе в нее толстыми плахами была выгорожена прихожая, где Манефа встречала своих людей, наставляла их, поощряла, наказывала. А что было во второй половине избы, никто и не ведал — доступ туда был закрыт. Тут она жила, молилась, подсчитывала доходы и расходы раскольничьей обители, читала священные книги, размышляла о странностях бытия и постулатах своей веры, столь же жестокой, сколь и шаткой перед несообразностями жизни.

... Манефа сидела напротив Ефрема Маркеловича и, загибая пальцы, перечисляла, что привезти в следующий раз: как можно больше пороха, пистоны, дробь. Вдруг, раздались три удара палкой в доску. Пришел кто-то из своих и просит дозволения войти.

— Кого это принесло? Может тунгусский князек Увачэнка за припасами приволокся? Ты, друг Ефрем, пойдика вот сюда. Посиди тут, я мигом управлюсь. Не надобно, чтобы тебя видели, — сказала Манефа и открыла дверь в другую половину кельи, и прикрыла за ним тяжелую дверь.

— Кто там ломится? Заходи, — крикнула она в ответ на повторный стук.

Ефрем Маркелович осмотрелся, увидев чистый стол, лежанку с подстилкой из медвежьей шкуры, табуретки, зимнюю одежду на клепах, вбитых в бревенчатую стену. «Скупое для настоятельницы», — промелькнуло у него в уме. Но глаз зацепился за три высоких сундука под замками, стоявших у стены. Вот где, по-видимому, Манефа до поры до времени держала все, что нужно было спрятать от чужих глаз.

Белокопытов осматривал тайную обитель Манефы минут две, когда до него донесся девичий голос на непонятном языке, напомнивший ему тот, на котором говорили между собой дочери Макушина. Голос был звонкий, совсем юный, с легкой дрожью.

— Да перестань ты тарабанить, негодная. Все равно ничего не пойму! — нетерпеливо перебивая, крикнула Манефа и, пристукнув батожком, добавила: — Поди прочь! Не до тебя мне!

И тут Ефрем Маркелович в щели между дверью и притолокой увидел девушку, которая на протянутых руках держала закопченный чайник, белую эмалированную кружку и деревянную миску с хлебом.

Зажав ладонью рот, Ефрем Маркелович сдержал крик. Перед ним стояла девушка, как две капли воды похожая на умершую жену.

— Поди прочь! Не до тебя мне! — слово в слово повторила девушка по-русски, не ошибаясь ни в одной интонации. Поспешно поставила на стол чайник, кружку и миску, и выпорхнула из кельи.

Ефрем Маркелович остолбенел. «Что за видение, что за чудо? Да это же она! И за что мне ниспослал Господь счастье снова видеть ее живой и здоровой!» — пронеслось в голове Белокопытова.

— Друг Ефрем, выходи! — донеслось до Белокопытова из прихожей. Манефа готова была уже сама идти к нему, не понимая, почему он медлит.

С трудом передвигая ноги в болотных сапогах с длинными голяшками, Белокопытов вышел из своей засады, но в глазах его все еще стояла девушка, так похожая на ту далекую и незабываемую, что покинула его. «Господь Бог послал мне эту женщину за страдания мои, за грусть-кручину, истомившую душу», — думал Белокопытов, не слыша, что говорит Манефа. А та повторяла свой наказ:

— Как первый снег ляжет, чернотропье скроется, ты и приезжай, друг Ефрем, — говорила Манефа, присматриваясь к Белокопытову, к его странной перемене в лице. — Ты понял меня, Ефрем? Запомнил? — строго спросила Манефа.

— Понял, запомнил, матушка, — глухо сказал Белокопытов, пряча глаза от пронзительного взгляда старухи.

— Ну а теперь ступай! Да не вздумай без нужды по моим кельям шариться, — не по-доброму усмехнулась Манефа.

Белокопытов вышел от Манефы, но, пройдя от ее избы шагов сто, остановился, поняв, что идет вовсе не туда, где оставил коня.

«Что со мной?», — прошептал он и снова повернул к избе Манефы. Увидев зарубки на деревьях, сломанные ветки, примятый папоротник, он, опознав приметы, зашагал туда, где оставил коня. Черные глаза в пол-лица, темные волосы, выбившиеся из-под платка, гибкие руки девушки виделись ему теперь в каждом изгибе тропы, уходившей в густую чащобу.

С той поры Белокопытов потерял покой и затосковал. Он зачастил на могилу жены, чтобы забыться, надо не надо ездил в Томск и трактовые села, но образ девушки, увиденной у Манефы, стоял перед ним. И он все чаще возвращался к мысли, что сам Господь послал ее, возвращая утраченное счастье. Не медли, не терзайся сомнениями, иди навстречу своей судьбе! Но кто она? Как она появилась у Манефы в ее таежной тюрьме? Почему говорит на чужом языке?

В конце концов Ефрем Маркелович отложил все дела, и отправился в скит, чтобы выследить девушку.

Три дня бродил он по тайным тропам, но ничего не достиг. Казалось, что скит покинут. Неподвижны были двери келий монахинь, не топились печи в них, не блестели огни в подслеповатых оконцах, не было и запаха очагов, на которых готовили пищу. Собак в монастыре держали на привязи, спуская с цепи только по крайней необходимости. Но обитаемое жилье в тайге опознавалось еще и по птицам. Но ни сорок, ни ворон, возле людских жилищ Белокопытов не обнаружил.

Тайна открылась просто: монашенки ушли в кедровник на заготовку ореха. Манефа и на этом промысле умела неплохо зарабатывать.

Когда Белокопытов перешел в кедровые урманы, он в первый же день обнаружил монастырскую артель, услышав удары барца о стволы, женские голоса, стук решеток, на которых отбивали шелуху. В зипунах, в платках, плотно повязанных вокруг головы, в мужских броднях монашенки суетились около огромных куч кедровых шишек.

Ефрем Маркелович затаился в пихтовой чаще, встал под ветки и, раздвинув их, стал наблюдать. Ее он увидел в первые же минуты. Она несла мешок с шишками, спотыкаясь. Мешок сползал со спины и то и дело падал. Она с трудом взваливала его, а он снова падал. Монашенки хотели, выкрикивая язвительные слова.

Была минута, когда она посмотрела в его сторону. И Белокопытов отчетливо рассмотрел ее лицо и черные глаза, в которых стояли слезы.

«Кинусь к ней и увезу на заимку. Пусть только остальные уйдут на берег», — думал Белокопытов. Но такой случай не представился.

До самых сумерек простоял он в чаще. Женщины ушли на ночевку на песчаный берег под яром, где стояли шалаши и горел костер. А Белокопытов побрел на свою заимку, прикидывая в уме, что делать дальше. «Припугнуть настоя-

тельницу надо,— решил он.— Скажу, отдай девушку, а коли не отдашь, не видать тебе больше ружейного припаса!»

Но, поразмыслив, Белокопытов понял, что Манефу не запугаешь. Разве не может она найти другого связника-поставщика, который с радостью возьмется за это и на тех же условиях? Немало таких найдется. Тогда и свой куш потереяешь, и девушку из скита не выручишь.

«Выкраду ее и следов не оставлю»,— решил он окончательно. «Пусть Манефа подумает, что сгубила себя черноглазая в озере. Сколько их таких, что утопились от отчаяния!»

Но и тут были у него сомнения. Выкрасть-то он сумеет, ловкости и силы у него хватит, но это же будет насилие. Ах, знать бы ее язык, да объяснить ей, какие чувства переживает он.

Как-то раз он попытался завести разговор о раскольниках с Петром Ивановичем. Подумал даже, а не пойти ли с Макушиным на откровенность, не открыть ли ему душу?

Макушин о старообрядцах знал больше других, но до конца откровенничать не захотел.

— Давно старoverы обитают на Юксе. Немножко и я им подмогал. От московских купцов старые книги передавал, обрядовую утварь, иконы... Ну как откажешь людям в помощи? И батюшка твой, Маркел Савельич, все ходы к ним знал...

Вот и все, что он вызнал от Макушина. И понял, что больше тот не промолвит ни слова.

Надежда вернулась к Белокопытову, когда в Томске появился Шубников. Нахваливая Белокопытову старшего приказчика, Петр Иванович не умолчал, что Шубников знает три языка.

— По-французски и по-немецки говорит, как по-русски. И аглицкий знает, правда чуть хуже,— пояснил Макушин.

«Ну, вот все и решилось! Дай Бог тебе здоровья, Северьян Архипыч, может быть, тебя-то мне как раз и не хватало»,— возрадовался Белокопытов.

Наблюдая за скитом, он вызнал, что чаще всего черноглазая монашенка обитает возле кухни, тут и захватить ее проще простого. Или когда за водой на озеро пойдет»...

... Ее звали Луиза. Манефа же нарекла ее Секлетеей. Она рассказала об этом, когда они уселись на кедровый сутунок. Родной язык из уст Шубникова успокоил ее. Поняв, что мужчины не оскорбят и не унижат ее, она успокоилась.

— Скажи, скажи ей, брат мой, Северьян Архипыч, что целый год я слежу за ней. Мое сердце открыто для нее на всю жизнь. Пусть она посмотрит мне в глаза. Пусть заглянет в тайники моей души...

Белокопытов говорил и говорил в возбуждении.

Луиза бросила на него беглый взгляд, по-видимому, угадывая, что за необыкновенные слова он говорит, потом вопросительно и нетерпеливо посмотрела на Шубникова.

— Милый Ефрем Маркелыч, помолчите чуть-чуть, дайте мне минуту, чтобы перевести ей ваши слова,— замахал рукой Шубников.

Белокопытов замолчал. Грудь его вздымалась, крупные капли пота выступили на лбу. А Шубников тщательно, слово в слово перевел Луизе все, что говорил подрядчик. И вдруг они услышали то, что ни Шубников, ни Белокопытов и предположить не могли:

— Я видела этого господина дважды,— она кивнула на подрядчика.— Первый раз, когда он вышел от настоятельницы Манефы и потерял дорогу, а второй раз, когда он приходил к нашему стану на заготовке ореха.

— Она видела меня? О, Господи! Спроси ее, Северьян Архипыч, спроси, пожалуйста, брат мой, что она обо мне подумала?

Шубников передернул плечами. Вряд ли будет деликатным так откровенно спрашивать об этом девушку. Но Белокопытов торопил:

— Спроси, спроси ее! Пусть скажет.

Шубников понял, что Белокопытов не отстанет, и перевел вопрос. Черные глаза девушки сверкнули, а потом ее уставшее лицо вдруг осветилось улыбкой:

— Что подумала? Позавидовала той, за которой он пришел. Не один раз из келий исчезали девушки. Их уводили охотники, остяки и тунгусы...

— И они уходили по доброй воле? — спросил Шубников.

— Это лучше, чем быть рабыней, — сказала Луиза.

— Рабыней у кого? — спросил Шубников, про себя подумав: «И в самом деле, Сибирь полна неожиданностей, хоть за перо берись».

— Это большая тайна, — выдохнула Луиза, и Шубников понял, что тайна эта непроглядна, и, чтобы разглядеть, что лежит на дне бездны, надо многое узнать, до многого докопаться...

Глава 9

А Виргиния Ипполитовна продолжала заниматься с детьми Белокопытова, когда ее наконец настигло известие, которого она ждала с нетерпением, разрывавшим ее сердце.

Раз в неделю по Иркутскому тракту от Томска до Мариинска пролегал почтовая эстафета. В кожаных мешках на двух, а порой и трех-четырех подводах везли письма и посылки, газеты и книги, нередко отправленные чуть ли не с самого дальнего конца земли. По несколько месяцев на перекладных шли казенные бумаги на имя губернаторов и исправников, золотопромышленников и торговцев, начальников тюрем и смотрителей каторжных работ. У простонародья надобность в почте была самой малой, писали порой разве что солдаты родным с места службы, да сообщали о своем житье-бытье поселенцы, отбывшие сроки на Акатуе и Сахалине, навечно обосновавшись в сибирских

деревнях. А уж кому почта была желаннее всех земных радостей — так это интеллигенции, оказавшейся в этих краях по воле судьбы.

Валерьян сообщал Виргинии лишь самое существенное: жив-здоров, в намерения не внесено никаких изменений, договоренность остается в силе, этап миновал Кривошеково на Оби, и предполагается недельная остановка в Томске, а после путь продолжится дальше на восток. Он заверял Виру, что любит ее свыше всяких мер и надежда на удачу наполняет его стойкостью к невзгодам и презрением к опасностям.

Все это было написано, конечно же, не так открыто. Письмо было длинным и витиеватым, в нем перечислялись десятки имен родных и знакомых, которым автор пересылал земные поклоны и добрые пожелания на будущее. Владея ключом шифровки, Виргиния Ипполитовна без особого труда среди множества слов выискивала те, что составляли суть дела: «Если никаких задержек не будет, то по первому санному пути этап может прийти в Семилужное». А в Семилужном и должно было произойти именно то, что привело Виргинию Ипполитовну в дом Ефрема Маркеловича Белокопытова.

Кто и как все это готовил, она доподлинно не знала, ведала лишь одно — Валерьяна освободят, и ей отведена в этом не последняя роль, правда, только в самом конце цепочки. А потом они с Валерьяном должны были уйти в тайгу, в пределы тунгусского стойбища князька Увачэнки, а уж оттуда — переход в Китай и отъезд в Европу. Но то, что план побега весьма сложен, требует дьявольской изощренности, Виргиния представляла так же, как и финансовую сторону этого замысла. Но Святослав, товарищ по Швейцарии, получил после смерти матери солидное наследство. И распорядился капиталом соответственно своим взглядам: землю роздал крестьянам, а деньги употребил на нужды угнетенных и страждущих. Но с его по-

мощью и предполагалось решить не только финансовую сторону этого рискованного предприятия.

Непостижимо затейливой была схема побега Валерьяна. Чиновник пермской пересыльной тюрьмы должен был включить его фамилию в список этапа, направлявшегося на Нерчинские каторжные работы. В Омске, где происходила замена конвоя, Валерьяну предстояло встретиться с новым начальником команды. Уже в Томске этапы сортировали, отсеивая заболевших арестантов и формируя дисциплинарные команды особо опасных преступников. Начальник пересыльной тюрьмы взялся непременно включить Валерьяна в колонну номер семь, на которую и должны были совершить нападение около Семилужного томские боевики, имевшие немалый опыт в подобных операциях. Здесь Валерьяна и должны были забрать люди Филарета, настоятеля Юксинского мужского раскольниковского монастыря. Дальше за дело брался старшина тунгусского рода Увачэнки, который в обход тракта должен был доставить Валерьяна и Виргинию по самой короткой дороге в Красноярск, откуда открывался им путь в Кяхту, а далее в Китай. Все каторжане привычно бежали на запад, им же проторили путь на восток.

Пребывание возле Семилужного было предписано Виргинии Ипполитовне друзьями Святослава. И было сказано ей, что лишь две фамилии — Голицын и Касьянов — должна она запомнить, на случай передачи ей важных сообщений. Поначалу она оскорбилась, почему, мол, в таком сложном замысле ей отводится столь незаметная роль? Разве не она любит Валерьяна? Разве не способна она на подвиг ради любимого? Но в Томске, в дешевенькой гостинице на Духовской улице, ее неожиданно посетил пожилой господин, назвавшийся опальным князем Голицыным. Он и внес ясность в ее сомнения.

— Напрасно, мадмуазель, обижаетесь. Ваша роль исключительна! Быть рядом с борцом в часы крайнего напряжения, это не только почетно, но и ответственно. Об-

думайте сами все спокойно, и не требуйте для себя того, что могут сделать другие...

И Виргиния Ипполитовна взяла на себя то, что подсказывали друзья. А Белокопытов словно поджидал ее со своим предложением учить его детей.

Письмо Валерьяна безумно обрадовало ее. Стало быть, все шло без малейшего сбоя. И она в сотый раз и до мельчайших деталей представила себе тот час, когда он окажется на свободе. Его нужно сразу во что-то одеть. Не в арестантской же робе ему оставаться? И напоить-накормить. Разве простое это дело в таких условиях? Но самое главное — ему нужно было дать приют, чтобы он мог после всех страданий отдохнуть и прийти в себя.

Виргиния Ипполитовна понимала, что наверняка кто-то еще думает о том же самом, однако Валерьян наверняка рассчитывает и на нее, на ее готовность в любой момент выполнить часть общих забот. Разве могло быть иначе?

— А что, Ефрем Маркелыч, не поспособите ли вы мне в одном деле? — обратилась как-то учительница к Белокопытову, подкараулив его одного в доме.

— Конечно! — воскликнул без промедления подрядчик, думая, что она наверняка будет просить у него обговоренное жалованье наперед, чтобы переслать матери, коротавшей старость в одиночестве где-то в степном селе под Омском.

— Вы это о чем думаете? — насторожилась она.

— А вы? — поспешил спросить Белокопытов, и оба весело рассмеялись. «Ну тем лучше, естественнее прозвучит моя просьба, — подумала она и, посерьезнев, сказала:

— Я хотела спросить вас, Ефрем Маркелыч, вот о чем. Нельзя ли купить в ваших местах полушубок, валенки и шапку на мужчину ростом чуть меньше вашего?

Он кинул на нее вопросительный взгляд:

— Позвольте-позвольте, но вы же сказали мне, будто незамужняя.

Разговор происходил в сумерках комнаты, и он не заметил, как вспыхнули ее щеки пунцовым жаром.

— Да брата я хотела осчастливить теплой одеждой. Он десятником на строительстве Транссибирской магистрали служит, — сказала она спокойным голосом первое, что пришло ей на ум. — Зима же скоро, — добавила она, а про себя подумала: «Дура я, дура набитая! Ох, надо быть осторожной, он же сквозь землю видит!»

Но Белокопытов, кажется, поверил:

— Не велика забота, Virginia Ипполитовна. Ближе к зиме съезжу в Томск и куплю все, что закажете. На Обрубке не только полушубок, а дом можно купить, — пошутил он.

— Спасибо вам, — отозвалась она и поспешила перевести разговор на другое — о детях, об учебниках, о необходимости своевременно запастись школьным инструментарием.

— Уж об этом не беспокойтесь! Все привезу в срок. Петр Иванович Макушин со своего склада мне последнее отдаст.

— Замечательно, — радостно воскликнула она.

Virginia Ипполитовна ушла домой и весь вечер казнила своей оплошностью в разговоре с Белокопытовым.

Глава 10

И Шубников, и Белокопытов были так увлечены разговором с Луизой, что забыли о времени. А между тем оно не стояло на месте, и солнце, хотя и скрывающееся в облаках, давно перевалило зенит.

Шубников первый напомнил об этом.

— Ефрем Маркелыч, а ведь мадемуазель Луиза, наверное, проголодалась. Не очень-то мы с вами гостеприимны. И, кстати, не сильно ли рискуем, сидя вот так, на виду?

Белокопытов вздрогнул. Он забыл и о еде, и о возможных поисках Луизы. Манефа, обнаружив исчезновение

девушки, могла решиться на все. Среди ее монашек были и такие, кому тайга не препон, они знали тропы и в трактовые села, и в стойбища инородцев. А если Манефа организует погоню и обнаружит беглянку, уйти ей не дадут. Бросят в яму, обрекая на голодную смерть, или того хуже — привяжут к дереву и оставят на съедение гнусу.

Судорога исказила лицо Белокопытова. Он с трудом оторвал взгляд от Луизы и заговорил с тревогой:

— Да-да, Северьян Архипыч! Я обезумел, забыл совершенно обо всем на свете. Зови ее в дом, скорее! В доме, в сундуке хранится одежда, что от Ксюши осталась. Пусть приберется, переоденется. А я сей же час еду приготовлю, вот только коня расседлаю.

Луиза оглядела мужчин, будто еще раз желая убедиться наверняка, что они не сделают ей ничего дурного, потом встала и пошла за Белокопытовым. Легкую походку не могла скрыть даже бесформенная тяжелая одежда. Однако раза два она оглянулась на Шубникова, шедшего позади. И показалось ему, что посмотрела она на него с благодарностью и даже чуть улыбнулась.

«Она, кажется, довольна. Да и как не быть довольной, если все происшедшее столь фантастично: французская девица в сибирской тайге, среди раскольников! Влюбленный мужчина освобождает ее. Другой на таежной опушке говорит с ней по-французски. Расскажешь такое, никто не поверит», — подумал Шубников.

В доме Белокопытов достал из ящика одежду жены: юбку, кофту, вязанные крупной ниткой чулки, ботинки со шнурками, поддевку-безрукавку на атласе.

— Скажи ей, Северьян, если что велико или мало будет, пусть сама еще что-то посмотрит, там много всего осталось. А я пока поставлю на стол кое-какие припасы. — И он стремительно бросился из дома к амбару.

Вернулся уже с подносом в руках, на котором уместились и блюдо с кусками вяленого мяса, и тарелка с копче-

ными окунями, и открытые туеса с брусникой и медом. Поставив на стол поднос, Белокопытов ловко и без суеты, заправил самовар водой из кадки, поджег лучинки и, убедившись, что горят они споро, сунул их в чрево самовара. Добавив туда углей, водрузил поверх гнутую трубу, соединив самовар с печкой. По дому поплыл запах горящего смолистого дерева, а вскоре самовар зашумел.

Шубников наблюдал за Белокопытовым, поражаясь его точным движениям.

«Истинно влюблен, и потому душа в восторге», — продолжал размышлять Шубников.

— Ну, как, Северьян Архипыч, не обидели ли мы гостью скудностью угощения? — обеспокоенно спросил Белокопытов, присаживаясь к столу.

— Да, что вы, Ефрем Маркелыч, с какой стати! Опять же мы же не готовились к встрече с ней! — воскликнул Шубников, но тут же смутился: «Я-то не готовился, а он, судя по всему, готовился, и давно. Потому и снесь припасена. Потому-то каждая жилка трепещет в нем и глаза горят огнем.

Но вот за дверью раздались шаги, и на пороге появилась Луиза. Белокопытов вскочил с табуретки, порывисто шагнул к ней навстречу, но тут же сдержал себя и отступил. Ему хотелось обнять девушку, прижать к себе, уж так она походила на умершую жену.

— Боже мой, в самый раз пришлась ей одежда Ксенюшки! — воскликнул Белокопытов. — Северьян Архипыч, посмотри-ка, вылитая Ксюшка! — И он прихватил Шубникова за плечо, который почувствовал, как дрожит его рука.

— Да не знал я и не видел вашу супругу, Ефрем Маркелыч!

— Как две капли воды! Луиза, родная, прости, что силой тебя втащил в седло. Прости и садись вот здесь. — Он подвинул француженке табуретку, глядя на нее завороченным взглядом.

— Он приглашает вас, Луиза, за стол, просит не стесняться. — Шубников не стал переводить все, что сказал Белокопытов, подумав: «Надо успокоить его. Слишком уж возбужден, не ровен час оконфузится, а потом стыдиться будет».

— Вы успокойтесь, Ефрем Маркелыч. Все у вас прекрасно. И она, уверяю вас, довольна, и лицо ее повеселело. Она совсем еще юная, и ей необходимо доброе попечение старших.

Шубников заметил, что Луиза прячет свои руки, держит ладонями вверх.

— Рыбу солили, руки солью разъело, — смущаясь, сказала Луиза, и Шубников пожалел, что излишне долго задержал взгляд на ее руках.

— Чем бы, Ефрем Маркелыч, руки ей подлечить? — обратился Шубников к Белокопытову, объяснив причину вопроса.

— Так я сейчас живицу кедровую принесу. Лучшего лекарства не сыщешь!

Взяв со стола охотничий нож, он поспешно вышел из дома.

— За лекарством пошел. Руки ваши лечить будет, — объяснил Шубников девушке.

— Это так любезно! — чуть улыбнулась она.

«Какой бурей ее сюда занесло? — подумал Шубников и украдкой осмотрел Луизу. — Что заставило ее страдать в этой глуши?»

... Белокопытов не вошел даже, а влетел. На лезвии ножа блестели ядреные капли чистой смолы, снятой с кедра.

— Пожалуйста! — Белокопытову очень хотелось самому взять руки девушки и смазать их. Но вдруг робость охватила его, и он попросил сделать это Шубникова.

Луиза покорно положила руки на стол, Шубников пальцем снял капли смолы с ножа и осторожно стал втирать их в трещины на руках.

— День-два подождем, и, уверяю, кроме следа от смолы, ничего не останется. Все заживет! — наблюдая за дви-

жениями Шубникова, сказал Белокопытов, и раскрасневшееся лицо его сияло удовольствием.

За столом подрядчик то и дело угощал девушку и Шубникова, подвигал им тарелки со снедью, обещая к ужину приготовить свежую дичь.

Луиза же с аппетитом и без всякого стеснения и жеманства ела все, что стояло на столе. Самовар заваривал, запыхтел, и Белокопытов залил кипятком в фарфоровый чайник, наполненный чаем и смородиновыми листьями.

Трапеза теперь протекала не спеша и, можно сказать, как-то обыденно, будто не раз, и не два усаживались они за этот стол вместе. Шубников порой надолго замолкал, а без него, ясное дело, разговор вести было некому. В такие минуты Белокопытов с обожанием смотрел на Луизу и, чувствуя свою беспомощность в общении с ней, опускал голову.

После еды Луиза отправилась в горницу отдохнуть, но не успела она встать, как со двора донесся залиvistый лай собак.

— Кто-то к нам припожаловал, да еще с собаками, — с тревогой сказал Белокопытов и подошел к окну. — Серверьян, уведите ее в горницу от греха подальше. Одно из двух, либо пасечник пришел, либо Манефа послала дозорных. Я выйду, посмотрю...

Белокопытов одернул рубаху, выпрямился. Шубников пропустил Луизу в горницу, попросив сидеть тут, пока он сам не придет за ней. Луиза побледнела.

— Они убьют меня! У них возврата назад не бывает, — прошептала она.

— Не отчаивайтесь! Ефрем Маркелович не даст вас в обиду, — вполголоса сказал Шубников и невольно погладил ее по плечу.

Спрятав Луизу за перегородку, где стояла кровать и комод с вещами, Шубников прикрыл дверь в горницу и вышел из дома. «Коли это погоня за Луизой, пусть знают, что нас, мужчин, тут двое», — решил Шубников. Он был полон решимости защитить ее.

Выйдя на крыльцо, в распах ворот он увидел Белокопытова и двух женщин, сидевших на конях. Они были одеты так же, как и Луиза несколько часов назад: в черных платках, длинных зипунах с опояской, на ногах чирюхи. В руках — ременные плетки с жесткими узлами на концах. Скитские собаки, поначалу рычавшие на Белокопытова, улеглись на лужайке, высунув длинные языки. Видать, немало они уже поколесили по тайге. И приустиали.

— Откуда всадницы, Ефрем Маркелыч? — подходя, спросил Шубников.

Одна из женщин вперилась в него круглым глазом, и взгляд ее, непримиримо суровый, подсказал ему, что это и есть монастырский палач, подручная настоятельницы Манефы. Второго глаза у нее не было, и кожа, закрывавшая глазницу, была замазана какой-то бордовой краской.

— Здравствуйте, барин, — сказала негромко вторая женщина и слегка тряхнула головой в черном платке.

— Происшествие у них в ските, монашка Секлетее потерялась. Не то заблудилась в тайге, не то утопилась в озере. А, может быть, тунгусы выкрали, в жены старшинке увезли, — подчеркнуто спокойно объяснил Белокопытов.

— Ну, и что они хотят от вас, Ефрем Маркелыч? — спросил Шубников.

— Спрашивают, не видел ли я Секлетее. А я объяснил, что весь день мы с вами по тайге бродили, но следов никаких не встретили.

— А к нам-то ездил ты или не ездил? Конские следы к нам ведут, — хриплым голосом сказала одноглазая и перевела свой взгляд с Шубникова на Белокопытова.

— Ездил! Я уже сказал, что ездил! А коли хочешь знать зачем, так спроси игуменью. Авось, она тебе скажет, — повышая голос, с усмешкой сказал Белокопытов.

Одноглазая вздрогнула. Мать Манефа не любила, чтобы ей задавали лишние вопросы, и всякое ненужное любопытство пресекала строгими наказаниями.

Шубников не отличался особой храбростью, в чем сам себе уже давно признался, но сейчас яростный глаз монашенки вызвал у него холодную ярость, и ему страстно захотелось осадить ее, вселить робость в ее душу.

— Ты что, подозреваешь в чем-то доброго соседа? Ты думаешь, что говоришь? Или хочешь, чтоб я в ваш скит прислал на ревизию государственных чиновников из города? — Шубников сам не узнавал себя. Он не просто говорил, он кричал, по-господски топая ногой.

Глаз заморгал часто-часто, закрылся, а когда веко снова поднялось не ярость уже, а неохватный испуг наполнял его.

— Простите, барин, за неразумное слово, — прохрипела одноглазая и, присвистнув на коня, задержала поводьями. Собаки вскочили и кинулись впереди коней. Покачиваясь в седлах, и боясь даже обернуться, монашенки растворились в лесных зарослях.

— Ну, спасибо, тебе, брат! — облегченно вздохнул Белокопытов. — Уж как кстати было твое появление. Сейчас они доложат настоятельнице о твоей угрозе. А ревизии она больше огня боится. — Белокопытов готов был обнять Шубникова.

— Пойдемте, Ефрем Маркелыч, в дом, порадуем нашу гостью, что беда вроде бы миновала, — сказал Шубников, и они вошли на крыльцо, распахнув двери в сени дома.

Глава 11

Запуржило еще вечером. А к утру по всему Иркутскому тракту разыгрался такой буран, что и лес, и дорога, и подводы проезжих потонули в снежном месиве.

«Лучшей погоды для побега не придумаешь, только бы не разъяснело, не ударил мороз», — думала Виргиния Ипполитовна, вышагивая по тракту к месту будущей засады.

А за день до этого произошло то, что она давно ждала. В темноте раннего вечера ей в окно постучал всадник. Накинув на плечи пальто, она вышла за ворота.

— По поручению к вам от Касьянова. Примите. — И он, не слезая с верхов, подал ей зубило. — Предмет запасной и нужен для опознания вашей личности. Иметь при себе.

Далее всадник назвал место, где ей надлежало быть завтра от полудня до вечера, проинструктировав, как вести себя в случае неудачи. Он ускакал в темноту, не дослушав ее благодарностей.

Весь обширный сибирский тракт делился не на версты, а на станки, где партии каторжан и ссыльнопоселенцев располагались на ночевки. Как правило, это были большие села и деревни. А между станками были полустанки. Здесь партии останавливались, чтоб люди могли справиться нужду, перемотать портянки, передохнуть от тяжести кандалов, перекурить. Для полустанков избирали увалы, заросшие кустарником, чтоб с тракта не обозревался всякий, кого пошло на природу естество. Для обогрева и других нужд на таких местах ставили старые срубы овинов, амбаров, мельниц. Чаще всего крыши в этих строениях уже не было, и дым костров, возле которых сушились бушлаты или согревалось промерзшее железо цепей, поднимался клубами в небо.

От Подломного до полустанка Еланного почитай двенадцать верст. Расстояние не такое уж значительное, если, конечно, нет ветра и бурана, как нынче. Виргиния вышла из Подломного вскоре после завтрака. Нетерпение подстегивало ее. Она была в черном полушубке, на голове пуховая шаль, на ногах серые валенки, на плече холщовая сумка с постромками, в которой лежали учебники, тетради, мыло с полотенцем. Все это для отвода глаз, на случай неожиданных вопросов, куда, мол, идти изволите? Как куда? В Семилужки, в волостное правление, к местным учителям за добрым советом, как лучше детей грамоте обучать. А зубило к чему? Как к чему? Надо же хоть что-то иметь от волков. Еще вот и спички, и клочок сена, чтоб огнем зверей отпугнуть. Сказать прямо — не очень эти доводы убеждают. Но ведь все они на крайний случай, но Бог даст пронесет, зачем же предполагать самое худшее.

По плану, переданному Касьяновым, в момент остановки этапа, с которым шел Валерьян, на полустанке Еланном будет имитирован проезд почтовых подвод с расписными дугами, с бубенцами и колокольчиками. Впереди будет одна подвода, за ней вторая в две лошади, «гусем» запряженные по-сибирскому обычаю, и, наконец, третья подвода. В нее-то Виргинии Ипполитовне и нужно было без промедления сесть. А куда денут Валерьяна? Об этом ей ничего не было сказано — значит, не ее забота. Придет час — узнает.

Виргиния шла быстро. Встречных подвод было мало, и обогнала ее лишь одна, с полицейскими чинами. Но в мельтешении снега невозможно было разобрать знаки отличия на погонах.

Когда она, стряхивая таявший на щеках снег, подошла к полустанку, дым, выбивавшийся через изломы старого сруба овина, растекся по всей округе.

— Проходи, молодуха, погрейся, а то скоро этап подойдет. Выгонят нас отсюда, арестантов греть будут, — сказал мужик, заросший волосом до самых глаз.

В тепле Виргиния не нуждалась, ходьба согрела ее, но она все-таки примостилась на чурбак неподалеку от костра. Ноги изрядно устали, и она с удовольствием отдыхала, протягивая к огню руки. Однако сидеть долго не пришлось. Подъехал на коне вестовой этапа. Увидев у костра людей, принялся кричать:

— Давай-давай, топай отседова! И ты, дед, и ты, красотка!

Мужик выскочил из овина, снял с шеи коня подвесную кормушку с овсом и заторопился восвояси. Вышла и учительница. По-прежнему бешено свистел ветер, и проносились снежные вихри.

На противоположной стороне тракта — в тридцати шагах от него — на бугорке стояла часовенка с иконой Богоматери. Часовенка от времени почернела, скособочилась, но пока еще прочно выдерживала удары ожесточенного бурана. Виргиния Ипполитовна встала за часовенку и оказалась в том промежутке, который был защищен острым углом

сруба от ветра. «Неплохое место — и ветра нет, и видно все, что происходит на тракте», — подумала она и привалилась плечом к бревенчатой стене.

«Бедный мой Валерьян, сколько уж он прошагал от Москвы! Где же все-таки решили друзья спрятать его? Может быть, сразу отправят к тунгусам? Говорят, умеют они прятать в тайге так, что самая ловкая ищейка не отыщет», — рассуждала про себя она.

... Тракт почти пустовал. Проскакали два верховых, через несколько минут на рысях промчались две подводы и снова все смолкло. Наконец откуда-то издали послышался скрип саней и посвистывание, резкие, будто лай, но неразборчивые возгласы постовых. И вот показалась голова этапа. Впереди на коне ехал всадник — начальник конвоя. Вслед за ним двигались две подводы, а уж потом по четыре человека в ряд шли каторжники. Замыкали колонну три верховых на лохматых конях.

Проехав за часовню еще шагов сто, первый всадник остановился, прокричал команду. Колонна замерла, а потом стала дробиться на части. Одни пошли к овину, другие направились за увал, к кустарникам, а третья группа попятилась в сторону от дороги. Начальник конвоя спешил и прошел в овин.

«Ну, где же он, где?» — вытянув шею и напрягая глаза, искала Виргиния Валерьяна. Но опознать даже хорошо знакомого человека в этой толчее было невозможно. В одинаковых серых бушлатах, в одинаковых башлыках, укутавших шеи, каторжане были неотличимы друг от друга. «Где же он? Неужели отстал?» — волновалась Виргиния Ипполитовна. Но через минуту-другую спохватилась — так можно пропустить и подводу, которая обозначена для нее. И спохватилась вовремя. Едва этап расползся, как по тракту, позвякивая колокольцами, пронеслась одноконная подвода. Не успела она повернуть за перевал, появилась вторая, пароконная, и тоже с колокольцами. Кони были впряжены «гусем» — один конь в оглоблях, второй впереди в постромках. В широкой

кошеле сидели трое мужиков в дохах. Сквозь бушевавшую снеговерьт Виргиния увидела взлет какого-то черного покрывала, которое подобно огромной птице прикрыло на миг крыльями заснеженную землю. Это на Валерьяна, стоявшего у кромки дороги, набросили тулуп, завалив его в кошеву.

А вскоре появилась третья подвода. Колокольчики уныло позвякивали под дугой. Конь, постукивая подковами об оголенную ветром дорогу, круто перебирал ногами. «Пора и мне», — поняла девушка, выбежала из укрытия и кинулась навстречу подводе.

— Мне сюда заказано, — прокричала она двум мужикам в черных полушубках, сидевшим в санях.

— Быстрее! — услышала она в ответ нетерпеливый хриплый голос.

Когда отъехали от овина полверсты, этот же с мрачной усмешкой прохрипел:

— Зубило с тебя, хозяйка, причитается.

— Вот оно...

Мужчина скинул рукавицу и ловко засунул руку в сумку, достал зубило и положил в карман полушубка. Версты две ехали, не сказав ни слова. «Слава Богу, кажется, удалось», — мысленно перекрестилась Виргиния Ипполитовна, хотя мужчины настороженно посматривали на белеющие под снегом просторы.

— А что будет дальше? — спросила она, чувствуя, что пребывать в неизвестности дальше не может.

— А дальше будет то, что будет, — грубовато ответил мужчина с вожжами.

Вскоре сани повернули, и неторная, слабо накатанная дорога юркнула в узкий проем густой пихтовой чащи. Тракт скрылся за сумрачным густым лесом. Через полчаса, когда на дальней поляне мелькнули высокие отдушины подвалов, в которых зимовали пчелы, откуда-то издали донеслась стрельба.

— На тракте палят! — сказал мужчина, сидевший в санях у самой головки.

— Плохой знак! — отозвался второй.

Они вытянули шеи, насторожились, но выстрелы больше не повторились. Сердце Виргинии сжалось от недобрых предчувствий. Несмотря на ветер и мелкий снег, ей стало нестерпимо жарко, захотелось сбросить с головы шаль, расстегнуть ворот шубы.

«Никак не пойму, что они задумали? Почему нет следов от первой подводы? Куда мы едем?» — с отчаянием размышляла женщина. Но представить весь замысел боевиков, взявшихся освободить Валерьяна, ей так и не удалось. Откуда было ей знать, что три дороги, расходившиеся от тракта веером, вели к одному месту — хутору Лисицына, и самой короткой была последняя дорога, по которой и предполагалось провезти Валерьяна. Расчет был прост — оставить следы на первых двух дорогах, и в случае погони сбить преследователей на более дальний путь.

Хутор Лисицына был затерян в таком укромном уголке притрактовой тайги, что, не зная подхода к нему, найти его было невозможно не то что в буран, но даже при ярком солнце. Изба уткнулась в подножье холма, баня спряталась на берегу речки в черемуховых зарослях. Скотный двор: амбар, конюшня, хлев — укрылся в сукастых соснах.

— Тихо что-то, а пора бы им уже быть, — сказал тот, что правил конем.

— Видать, осечка, — отозвался другой, а у Виргинии Ипполитовны от его слов зашло сердце.

— Неужели провал?! — со стоном воскликнула она.

— Бывает, — сказал возница.

— Не угадаешь, где прогадаешь, — подтвердил напарник.

Учительница поняла, что эти люди, с которыми свела ее судьба на сибирском тракте, бывалые и не первый раз участвуют в таком деле.

Когда подъехали к хутору ближе, стало ясно, что он покинут, изба не топится, людских следов нет. А где же па-

роконная подвода? Ведь использовать ее и задумали с целью промчать Валерьяна по проселку как можно быстрее и без промедлений отправить в тунгусское стойбище. Она должна была прийти сюда первой. Где же она задержалась? Насупились мужчины, запыхали сигарками, то и дело выходили из избы, прислушиваясь к свисту ветра...

Наступила ночь. Темнота поубавила снежную ярость, небо очистилось от туч, заблестели звезды. Виргиния Ипполитовна забилась в угол избы, старалась забыться, но не могла, ее трясла, ломило в висках, ноги отяжелели, будто повесили на них гири.

Утром на хуторе появилась, наконец, пароконная подвода. На ней приехали те трое мужчин, которых мельком видела Виргиния, стоя у часовни. По их виду, сосредоточенному и уставшему, девушка поняла, что с Валерьяном случилась беда. Она заторопилась на крыльцо.

— Валерьян убит. Мир праху его, — скинув шапку, сказал самый молодой из мужиков и широко, во всю грудь перекрестился. Помолчав, подал ей руку, и тихо добавил: — Касьянов я. Через меня шли к вам его послания.

Остальные тоже сняли шапки, перекрестились, сокрушенно вздохнули, исподволь поглядывая на женщину. Земля ушла у нее из-под ног, она вскрикнула, но, ухватившись за перила крыльца, выстояла.

— Горько и тяжело! — сказал Касьянов и с размаху ударил кулаком в стену избы.

— Но почему? — онемевший язык не подчинялся ей, застывшие губы сминали слова.

— Надо же такому случиться! Варнаки приняли нас за настоящую почту, что деньги перевозит, и напали на нас. Стреляли. Валерьян под их пулю и попал.

— Боже...

— Кто же знал? Все нами было сделано чисто.

— Прошагал всю Россию, Сибирь... — Виргиния плакала навзрыд, вытирая слезы рукавичкой.

— Ночью мы его и схоронили... Одним крестом больше стало на сибирском тракте. Пусть земля ему будет пухом...

— Где похоронили?

— Покажем. Но не сейчас. Теперь всем надо побыстрому разлететься. Пойдете по нашему следу, он выведет вас к тракту, а там свернете налево, к Подломному. Мы уходим другой дорогой, через выселки поедem к городу.

— И не тянуть бы с отходом, пока не застукали, — сказал один из молчавших мужиков.

— Двинули!

Зашагала и Виргиния по указанной дороге. В одном месте из-под самых ее ног с шумом вспорхнул глухарь. Он круто поднялся в небо, уселся на сухую вершину толстой сосны и долго смотрел вслед девушке, нетвердым шагом бредущей по прямому проселку, занесенному снегом.

Глава 12

Луиза жила в Томске на Воскресенской горе, в отдельном флигеле, скрытом в глубине двора. Хозяин дома занимался ломовым извозом, и когда с поклажей отправлялся на тракт до Мариинска или Красноярска, его не было дома неделями. Жена его часами сидела за швейной машинкой или вышивала за пальцами. А потом относила выполненную работу в белошвейную мастерскую купца Перезвонова. Порой за весь день в доме не слышалось человеческого голоса.

— Северьян Архипыч, научи ты ее разговаривать по-нашенски, чтоб я мог объяснить ей, что лежит у меня на сердце, — просил Белокопытов Шубникова, когда они ночью вывозили Луизу с заимки, чтобы поселить в городе на тайной квартире.

Одиночество, конечно же, тяготило Луизу, но она понимала, что иного выхода нет, по крайней мере на ближайшие месяцы.

Скрашивало время чтение французских книг, которые приносил Шубников, добывая их в семьях профессоров университета. А недели через две Шубников начал обучать Луизу русскому языку.

— Все-таки обещал я Ефрему Маркеловичу поучить вас. Учитель, может быть, из меня плохой, но, некогда в Воронеже, доводилось мне давать уроки детям богатых людей. Возможно, и у вас получится.

— Бесконечно тронута вашей добротой. Не знаю, как и когда я отблагодарю вас, но, поверьте, не забуду этого никогда,— Луиза была взволнована до слез.

Шубников принес Луизе «Русскую грамматику» Гастона Амоньера, букварь Ушинского, словарь Татищева, тетради, карандаши, набор табличек с изображением животных, птиц, предметов домашнего обихода. Все это удалось найти в книжных магазинах, на складах Петра Ивановича Макушина и в библиотеках знакомых. И труды эти были не напрасны. Луиза оказалась ученицей не только прилежной, но и способной.

По последней тележной дороге в город нагрянул Ефрем Маркелович. Он привез Луизе корзины снеди, дал денег на покупку теплой одежды. И хотя она отказывалась, он в конце концов упрямил ее взять деньги, но с ее же оговоркой, что берет она их в долг.

Белокопытов рассердился было на нее, но, услышав несколько фраз, произнесенных Луизой по-русски, так обрадовался, что обнял ее и поцеловал.

— Уж как я хочу, чтобы была ты счастлива,— сказал он девушке, смущенной его порывом. А Шубникова в тот момент Ефрем Маркелович готов был, что называется, посадить на божницу:

— Брат мой, Северьян Архипыч, ты бриллиант среди людей, потому как столь пылко отозваться на просьбу другого мог только человек большой души. Кто тебе я? Да никто! Кто тебе Луиза? Никто! Искра божья горит в тебе и сердце великое бьется в твоей груди! — пылко благодарил его Белокопытов.

В самом деле, Шубников начал заниматься с Луизой, не рассчитывая, что Белокопытов оплатит его время, которое он щедро отдавал обучению девушки. Впрочем, если бы подрядчик даже не попросил его, он сам бы взялся за ее обучение. Он не знал подробностей из жизни француженки, но отлично понимал, что оставить ее без своего внимания ему совесть не позволит.

Работы у Шубникова было свыше всякой меры. Петр Иванович Макушин платил ему хорошие деньги, однако и работу он требовал полновесной мерой. Теперь, чтобы подготовиться к своим выступлениям перед «Томским обществом» или просмотреть материал к очередному уроку с Луизой, Шубникову приходилось засиживаться до глубокой ночи.

В первое время Шубников ходил на Воскресную гору, следуя лишь своему обещанию Луизе. Но уже через несколько занятий по-настоящему увлекся ее обучением.

Луиза встречала его с волнением. И раз от разу оно проявлялось все очевиднее. Бледное лицо розовело, черные глаза сияли, алые детские губы и крутые брови приходили в движение. Девушка все время менялась, то была серьезной, то улыбалась, то казалась покорной, то становилась непослушной. Иногда ее звонкий голос словно трепетал от страха, иногда вдруг рассыпался смехом в притихшем доме. До поры до времени Шубников, казалось, ничего не замечал. Он заходил в комнату Луизы, садился за стол, приглашал девушку сесть напротив и приступал к занятиям. Он строго спрашивал, дотошно объяснял и покидал дом до следующего занятия. Но однажды все вдруг нарушилось. Занятие началось как обычно. Шубников сосредоточенно принялся спрашивать ее, но в ответ не услышал ни слова.

— Что с вами, Луиза? Почему вы молчите? — Шубников поднял голову, и замолк. Бледное лицо девушки отражало смятение. В глазах, прямо устремленных на него, стояли слезы. Брови вскинулись в резком изломе. Все это было признаком ее внутреннего страдания.

«Как она прекрасна! Почему же я не замечал этого раньше? Нет, я не смогу сегодня вести урок», — подумал он и решительно встал.

— Побудьте, Луиза, одна, — сказал он. — И я должен побыть один... — добавил он. Вышел из комнаты, быстро оделся и выбежал из дома.

Он шел не спеша, сосредоточенный и угрюмый, не зная еще, печалиться или радоваться тому чувству, что вспыхнуло в его душе в этот неожиданный час. Через день они встретились. Он пришел как обычно, в назначенное время. И он, и она держались просто, доверчиво, будто день назад ничего не произошло. Когда урок закончился, он осторожно, с затаенной боязнью сказал:

— Не правда ли, прелестный вечер? На улице снег, но тихо, тепло и как-то даже ласково. И не верится, что мы в Сибири. Нет ли у вас желания погулять?

Она вспыхнула, кинулась к своему новому дешевенькому пальто, купленному хозяйкой на деньги Ефрема Маркеловича, но остановилась:

— Но достойна ли я вашего внимания? — Глаза ее смотрели с нетерпеливым ожиданием.

— Луиза, что вы говорите?! — с укоризной воскликнул Шубников и, сняв с вешалки ее пальто, помог ей надеть его.

Был действительно прелестный вечер ранней зимы. С Воскресенской горы, с того самого места, где ссыльные поляки воздвигли каменный костел, Томск обозревался от края до края. Отсюда хорошо просматривались главные улицы города, очерченные ровными линиями фонарей. Желтые пятна, мерцавшие в темноте, убегали в дальнюю даль, и казалось, что у нее, как и у неба, нет пределов. Хотелось говорить о чем-то сокровенном и непременно шепотом.

— Вам хорошо, Луиза? — спросил Шубников.

— Мне так хорошо, что я сама не верю себе, — ответила она и на полшага приблизилась к нему. Он взял ее за руку:

— Не опирайтесь на перила. Они наверняка подгнили. Можно упасть.

— С вами я ничего не боюсь.

— Я вовсе не такой храбрый, как вы думаете.

— Вы верный, а это дороже храбрости.

Они не сказали сегодня тех слов, которые готовы были сказать, но оба чувствовали, что скажут их в самой ближайшее время.

Глава 13

Три дня и три ночи промучилась Виргиния Ипполитовна, прежде чем собралась с силами и снова отправилась в дом Белокопытова, чтобы приступить к занятиям с детьми.

Ефрем Маркелович с обвязанной головой и забинтованной ногой лежал в постели. Лицо его осунулось и побледнело. Шелковистые русые волосы спутались, а густая борода торчала клочьями. Ярко-синие глаза смотрели устало, и по всему угадывалось, что его терзает боль.

— Виргиния Ипполитовна, проходите, и не пугайтесь. Я всего лишь жертва несчастного случая, — хрипло вымолвил Белокопытов. Он попытался улыбнуться, но губы дрогнули и из груди вырвался стон.

— Что с вами? Что за беда случилась? И почему вы ничего не сообщили мне? Я хоть и прихворнула в эти дни, но все равно поспешила бы к вам на помощь. Вас же нужно немедленно увезти в Томск.

Виргиния Ипполитовна, как всегда в случаях неординарных желала действовать решительно.

— Садитесь, — сказал Белокопытов и чуть приподнялся, опираясь на локоть.

— Вам не надо двигаться, — твердо сказала учительница и опустила на табуретку. «Боже мой, куда девались его красота и вальяжность?» — подумала она.

— Нет-нет! Из своего дома я шагу не шагну! — запротестовал Белокопытов.

Белокопытов взял девушку за руку, и, глядя ей в лицо, заговорил, задыхаясь:

— Вы лучше послушайте, что я скажу вам...

Виргиния Ипполитовна отметила про себя, как дрожит его рука, как горло перехватывают спазмы.

— Ну, говорите же, я слушаю.— Ей стало жалко его. Никогда еще она не видела этого сильного мужчину таким беспомощным и одиноким.

— Вам известно, что на тракте было нападение на почту? — спросил он, прикрывая глаза.

— Хозяйка говорила мне,— Виргинии Ипполитовне удалось сказать это с полным равнодушием.

— И дернул меня черт именно в этот час оказаться на тракте. Попал в самую перестрелку. Пуля содрала кожу с головы над ухом, а конь копытом разворотил ногу...

— И куда же вас понесло-то! — спросила она, подумав: «А ведь могли бы встретиться на тракте»

— В Семилужки я поехал. У десятника в Дороховой гвозди кончились. Хотел перехватить у купца Белина, чтобы в Томск не ездить за таким пустяком. А тут столкнулись люди. Кони. Пальба. Бог милостив, ведь могло быть хуже.— Он взглянул в лицо учительницы, и она по его взгляду поняла, он очень хочет, чтобы она поверила ему, не усомнилась в том, что он попал в разбойную свалку по чистой случайности.

— Да как же это могло произойти? — спросила она, взглянув на него с недоверием. Что-то мешало ей поверить ему, чего-то не хватало в этой истории для сущей правды.

— А что тут особенного,— загорячился он, уловив ее недоверие.— Почтовые подводы шли с охраной. Варнаки тоже не с голыми руками были. А тут как раз дорога делает поворот, из-за леса ничего не видно. Я и вперся в самое пекло. Уж угораздило так, что нарочно не придумаешь.

Ефрем Маркелович помолчал, и добавил виноватым голосом:

— Уж вы извиняйте меня, что взволновал вас. Да все минует, все пройдет. Отлежусь дома. Иначе ведь что? Становой следствие откроет, спросы-расспросы начнет, а мне недосуг с ними возиться. Петр Иванович со школами торопит.

— Так знайте, Ефрем Маркелович, я вам худа не сделаю. За ваше-то добро ко мне разве можно подлостью платить? — Она взглянула на него, но он успел закрыть глаза и сморщить лицо, будто от боли.

— Устинья-то у меня, что твой доктор. У нее примочки из трав пригодны в таком случае, подорожник хорош, сушеный березовый лист и смола, смола...

И словно в подтверждение его слов открылась дверь и вошла Устинья с полотенцами на деревянном подносе. Учительница встала, уступая место.

— Поправляйтесь, Ефрем Маркелыч.

— Навещайте меня, чтоб не залез я от тоски-кручины в петлю,— он готов был заплакать.

— Приду. Непременно буду приходить.

Глава 14

В середине прошлого века не только в Петербурге, Москве, Киеве, но и в отдаленных провинциальных городах начали строить особняки. Обязательным дополнением их интерьеров были зеркала: потолки, двери, стены лестниц, кабинетов, залов непременно дополнялись зеркалами. Их в Россию везли большей частью из Франции. Доставляли на телегах и санях, устанавливая в особые футляры, чтобы уберечь от ударов и сырости. Усердствовали в использовании зеркал и сибирские золотопромышленники. Один купец из Нерчинска заказал в Париже зеркало такой вели-

чины, что оно, проделав на подводах девять тысяч верст, не проходило ни в одну дверь его дома. Пришлось плотникам прорубать новые двери, чтобы внести зеркальную стену в дом.

Спрос на зеркала, естественно, повлиял на объем их производства. Россия своей потребностью ощутимо поддерживала и французский капитал, и французских мастеров-зеркальщиков.

Не менее, а может быть, и более зависимым был Париж от России и в моде. Париж создавал моду, а утверждал ее жизнестойкость Петербург.

Были случаи для Парижа и драматические. Большой свет Петербурга не принимал по каким-то причинам новые творения изощренных парижских модельеров, и тогда владельцы модных ателье и мануфактур несли огромные убытки. Вкусы петербургских модниц, не жалевших на наряды огромных денег, выплескивали на поверхность такие капризы, которые не так просто было понять. В Россию устремлялись опытные дельцы, чтобы взвесить ситуацию, вникнуть в подробности происходящего, спасти положение французских заправил моды.

... Луиза и Шубников снова стояли на площадке Воскресенской горы возле костела. Правда, вечер на этот раз был иным, чем тот первый их вечер. Дул ветер, раскачивая голые макушки тополей и черемух. Фонари, защищенные стеклами, были окутаны снежной порошей, и едва мерцали. Под стать фонарям и месяц светил робко, боязливо передвигаясь по темному небосклону.

— ... Мы жили на берегу Женевского озера. Там есть маленький городок Веве. Папа с парижскими мастерами-краснодеревщиками и зеркальщиками заканчивали отделку особняка одного коммерсанта. Я училась в гимназии. Мама болела, чахла на глазах, — рассказывала Луиза. — На лето мы уехали в горы, на крестьянскую ферму. Надеялись, что целебный горный воздух поможет маме.

Но... не помог. Осенью она умерла. Вскоре завершилась отделка особняка. Можно было возвращаться в Париж, где нас ждала бабушка, мать отца... Но вместо Парижа мы поехали в Москву. Папа получил заказ на отделку нового купеческого особняка в Замоскворечье. Здесь-то все и произошло...

Луиза говорила тихо, рыдания подступали к груди, теснили дыхание. Шубников слушал молча, опершись на перила лестницы. Он пробовал однажды расспросить Луизу о том, как она оказалась в Сибири, но девушка ушла от этого разговора. Он попробовал обидеться, но, подумав, осудил себя за нетерпение. «Не доверяет мне? А почему она должна доверять? Потерпим. Всему существенному нужно свое время. Если полюбит меня по-настоящему, то непременно наступит час, когда сама, без всякого принуждения расскажет. А не наступит, то Бог ей судья», — размышлял Шубников. И вот этот час наступил.

... Он слушал ее, ликуя в душе. Она делала еще один шаг навстречу его чувствам. Значит, все шло, как идет у всех на этом свете, от замкнутости к откровенности, от недоверия к преданности.

... Луиза с отцом поселились у купца Черноусова в его старом доме. Отец с другими мастерами с утра до ночи работал в новом особняке. Купец не жалел денег. Из Парижа везли ящики с зеркалами, из Италии венецианское стекло, из Китая фарфор и лаковые панели, из Лондона — черное и красное дерево, жемчуг и перламутр.

Купец был старовером. В доме царил жесткий порядок, хотя от посторонних это всячески скрывалось. У купца была дочь, единственная наследница отцовских капиталов. Звали ее Секлетея. И купец души не чаял в дочери. На отделке дома работал немец, мастер по металлу, по вероисповеданию католик. Он влюбился в Секлетею, и девушка ответила ему взаимностью. Зная, что отец ни за что не даст согласия на замужество с иноверцем, молодые люди задумали бежать за

границу. И бежали! По канонам раскольников веры такой поступок карался строго — ссылкой виновницы в Сибирь, в глухой таежный скит. Раскольниковый собор повелел ему любой ценой разыскать дочь и доставить в скит. Но дочь была недосыгаема. Вот тут и возникла мысль о подмене Секлети другой девушкой. В строгой тайне, конечно. Купец пообещал отцу Луизы большие деньги, если дочь на время поедет в Сибирь под именем Секлети.

К тому времени у отца появилась новая жена, с первого дня невзлюбившая Луизу. Шагу не ступи, слова не скажи. За все укор, за все змеиное шипение.

— Что ты теряешь? Время! А его у тебя немного. К тому дню, как замуж выходить, купец отвалит золотой кошель, — настаивал отец, помышляя о самостоятельном деле. И прежде чрезвычайно экономный, теперь отец стал просто жаден.

Долго бы колебалась Луиза, да обстоятельства вынуждали. Купец торопил с ответом, вывалив на стол крупный задаток. «Поеду!» — решила Луиза в отчаянии.

Отец Луизы и отец Секлети, видя ее терзания, обещали выручить ее из Сибири без промедления. Она поверила, как верят легковесным обещаниям наивные, не испытывавшие еще бед от коварства, молодые люди.

В Томске встретила Луизу мать Манефа. Ей, конечно, все было известно о подмене, но свой выигрыш на чужом несчастье она не упустила. В иные дни она даже щадил новенькую, отстраняя от изнурительной работы, держала ее поближе к себе, но без больших поблажек: здесь скит, а не институт благородных девиц. А для общения с миром нет тут ни почты, ни курьеров, и дороги любопытным сюда закрыты...

Шубников представил скит, келью, мертвое безмолвие тайги, мрачное небо над лесом.

— Да, ведь это пытка. Пытка на медленном огне, и не день, и не два, а долгие месяцы! — Он порывисто обнял девушку, прижав к груди.

Они стояли молча и, может быть, стояли бы дольше, если бы к ним не подошел загулявший мужчина.

— Золотые мои, любовь оно, конечно, прекрасное чувство, но, язви ее душу, зима же на дворе! Простуда принесет нездоровье, а любовь требует силы и удали, — он хохотнул и, покачиваясь, придерживаясь за перила лестницы, скрылся в темноте.

Глава 15

Виргиния Ипполитовна навещала Белокопытова ежедневно. Он поправлялся медленно, тяжело. Раны, особенно на ноге, то заживали, то вновь воспалялись. Устинья отступилась от лечения, и уже из других деревень привозили знахарок. Но выздоровление не приходило. Угрюмые старухи бормотали над Белокопытовым заговоры, брызгали на раны водой, умывали через уголь, но все не впрок. Белокопытов нервничал, кричал на старух, гнал из своего дома и требовал найти в Большой Дороховой старика, лечившего по слухам все хвори — от падучей до сифилиса.

Наконец, старого солдата привезли к Белокопытову. Осмотрев раны, он потребовал ведро воды и полведра отрубей. Размешал отруби с какой-то травяной приправой, и, когда горячее месиво стало твердеть, сунул раненую ногу в ведро.

Белокопытов заорал на весь дом. Виргиния Ипполитовна в этот час занималась в пристройке с детьми. Услышав ужасный крик, она кинулась вниз в спальню хозяина. Белокопытов лежал, закатив глаза, с каплями пота на лбу, закусив губы.

— Что вы делаете? Прекратите немедленно! — закричала женщина на лекаря.

— Счас, барыня, счас ослобоню. Ешо просчитаю до пяти. И раз, и два... — солдат окаменело сидел на табуретке, в голосе его не было и намека на испуг. Он досчитал до пяти, вытащил ногу Белокопытова из ведра и, округляя

впалые щеки, заросшие седым волосом, принялся дуть на открытую рану, залепленную разварившимися отрубями.

Когда старик, получив плату, удалился, а Белокопытов пришел в себя от перенесенной боли, Виргиния Ипполитовна снова пришла к нему. Ефрем Маркелович лежал, чуть прикрытый до бедер белым холщовым полотенцем. Постановывая, сказал:

— Уж вы извините, что встречаю в таком виде. Лекарь наказал лежать трое суток голым. От печного духа, мол, скорее затянет рану...

— Не беспокойтесь, Ефрем Маркелыч, я ведь фельдшерица по первому образованию. Два года в больнице служила. Всего насмотрелась.

— Господи, и когда же вы успели?

— Я вот что вам скажу... Таким способом лечиться... это, знаете ли, невежество и варварство...

— Уж это так, — согласился он, и в голосе послышалась усмешка.

Она окинула взглядом его крупное мускулистое тело и мысленно, помимо своей воли, заметила: «А задумали тебя родители на диво хорошо. Все до мизинчика в пропорции».

— С сегодняшнего дня, оставьте бабок в покое и знайте, что лечить вас отныне буду я сама.

— Да мыслимо ли такое?! Робею я перед вами.

— Робейте. Каждому свое. Так и в Писании сказано.

На другой день Виргиния Ипполитовна потребовала ямщика и поехала в Томск. Вернулась через два дня, нагруженная аптечными коробками. Тут были и бутылки с микстурой для примочек, и баночки с мазями, и порошки, и пакеты с бинтами, и упаковки с пинцетами, иглами, шприцами.

Белокопытов, увидев ее, засиял синью своих глаз, не сдержав радости, потому как лежать в постели ему остро чертело, да и в делах заменить его никто не мог. Слава Богу, что Петр Иванович Макушин отбыл по каким-то неотложным делам в Иркутск. А иначе прискакал бы, при-

скакал бы в Подломное, и привез бы сюда лекарей со всей Сибири.

— Господи Боже! За какие же доблести посылаешь ты мне свои благодати? — забормотал он, осеняя просветлевшее лицо и выпуклую грудь широким крестом. — Спасибо вам, Виргиния Ипполитовна, за ваши старания, вовек не забуду.

— Готовьтесь. Сейчас приложу к ноге примочки, — деловито распорядилась женщина и повязала голову белой косынкой, протерла руки спиртом из флакона.

— Полегче вроде бы стало. Может, завтра? — поежился от предчувствия новой боли Белокопытов.

— Никаких завтра! — Она сердито посмотрела на него, и то, что его красивое лицо стало растерянным, тронуло ее. «Большой, сильный, отец семейства, а на поверку — мальчишка, боится меня».

Но напрасно опасался Ефрем Маркелович. Руки у Виргинии оказались умелыми, ловкими и, хотя без боли не обошлось, каждое ее прикосновение казалось целительным.

— Скажу я вам, что лекарь ваш соображает. Устроил вам операцию по Гиппократу, болезнь одного органа лечил прижиганием другого. Кожа на ноге в волдырях, но и рана опалена. И представьте, затянула ее свежая кожица. Нагноение прекратилось. Попробуем этому помочь еще и противопожарными порошками. И слушайте меня, Ефрем Маркелыч! Ежели через три-четыре дня дело не сдвинется с места, увезу в Томск, в клинику, и без всяких разговоров.

— Может, Господь смилостивится, — проговорил Белокопытов, всматриваясь в лицо девушки. Белая косынка, повязанная по-деревенски клином, очень подходила к ее лицу. И Белокопытов подумал: «Уж, куда как хорошо! Модней любой шляпы».

— Видному человеку даже посконный мешок как парадный мундир. Все по плечу, — уже вслух продолжил Белокопытов.

— Это вы о чем? — спросила Виргиния Ипполитовна, раскручивая бинт.

— О вашем платочке.

— А-а-а,— протянула она равнодушно и принялась бинтовать ногу.

Закончив с ногой, осмотрела рану на голове.

— Повезло же вам! Чуть глубже, и оставили бы детей сиротами.

— Неужели и вы покинули бы их, Виргиния Ипполитовна? Вот был бы ужас! — он зябко передернул могучими плечами, хрустнув суставами.

— На произвол судьбы не бросила бы... Ну, не стоит говорить о том, чего не случилось. Что было, то прошло, и слава Богу!

Он заметил, что щеки ее порозовели, и в глазах промелькнула печаль.

— Они вас сильно любят. За глаза мамушкой кличут. Страсть какие болтуны, иной раз такого наговорят, что ум за разум заходит.

Учительница отмолчалась, а через мгновение сказала:

— Голову бинтовать не буду, только смажу рану мазью. Тут дело идет на поправку.

— Делайте, как вам угодно. Мое дело подчиняться,— ответил он, признаваясь себе, что ему нравится не только подчиняться ей, но и быть вместе с ней.

Она прибрала снадобья, бинты и инструменты в шкаф, кивнула головой:

— Спокойной ночи, Ефрем Маркелович.

— И вам того же, Виргиния Ипполитовна... А, может, велеть Харитону довезти вас до дома? Буран на дворе. Ишь как ветер в стенку бьется.

— Не беспокойтесь, я и сама дойду. Счастливо оставаться! — И она вышла, без стука прикрыв за собой дверь.

И, вдруг, он с такой острой тоской ощутил свое одиночество, что закрипел зубами. Вот бы кого тебе в жены, думал

он, задрав бороду к потолку,— и умна, и красива, и обходительна, и дети любят как родную мать... Да вот пойдет ли за меня, деревенского неуча? А ведь еще Луиза... Я же чуть ли не на кресте клялся, что люблю ее... Было ведь, было! Да только не в горячке ли? Ведь так похожа на Ксенюшку? Похожа-то похожа, а все ж не она. И к тому же неведомо, чем ее сердце к тебе отзовется... И не поговоришь, слова не скажешь, как немтырь какой-нибудь безгласный... Разве что только Шубников в ее обучении преуспеет... Дак ведь кто знает, когда такое случится? А жить бобылем так неуютно, не по-людски это, не по-божески.

Так час за часом, лежа в постели, раздумывал Белокопытов. Минутами ему казалось, что это не он думает о своей судьбе, а кто-то посторонний в тишине зимней ночи нашептывает ему на ухо всякую всячину, от которой ноет грудь и раскалывается голова.

Глава 16

И Виргиния Ипполитовна тоже не спала ночами, размышляя о своей судьбе, прикидывала, как жить дальше, что предпринять, чтоб не растратить окончательно свои силы. Гибель Валерьяна жестоко опрокинула ее расчеты на будущее.

... Они встретились с ним в Цюрихе. Он скоро должен был закончить медицинский факультет, она только-только поступила на факультет лингвистики и истории. «Все у тебя последовательно, Вира. Кончила фельдшерскую школу, отслужила два года в больнице и вот теперь — филология. Опять пойдешь к людям, опять будешь рядом с народом. Нет ничего благороднее, чем помогать людям в самом насущном, в самом необходимом. Да и учителей в России любят, почитают». Так рассуждал Валерьян, мысленно вычерчивая будущее Виргинии в бесконечных беседах о родине, об исторической роли народа, о грядущей революции.

Валерьян уехал на год раньше Виргинии. Поступил врачом в больницу, стоявшую в гуще старых улиц и переулков Москвы. Больница была низшего разряда, содержалась на пах фабрикантами, получала кое-какие дополнительные ассигнования от страховых компаний и заводских касс взаимопомощи. Пациенты больницы — сплошь мастеровые, рабочие да мещане.

Валерьян поселился во флигеле в просторной квартире из трех комнат. Кроме него жили в доме фельдшеры, аптекари, санитары, сестры милосердия — люди, скудно обеспеченные и, может быть, потому отзывчивые к нуждам других.

Удобств в доме было мало, но зато приемное отделение больницы в ста шагах, околоток срочной помощи тут же, за углом жилого флигеля, морг из красного кирпича в дальнем углу двора.

Едва Валерьян обжился на новом месте, полетели письма в Цюрих Виргинии Ипполитовне с просьбами: пришли для моей библиотеки такие-то книги, а если случалась верная оказия, то отправь европейские журналы и газеты, — но предупреждал всякий раз, что в Российской империи они хождения не имеют, а потому имеют статус противозаконных. Будь, мол, внимательна и аккуратна. Писал он все это, конечно, тайнописью. Виргиния отвечала без промедления, торопилась в книжные лавки, покупая все, что просил он. Замысел Валерьяна ей был хорошо известен — организовать в белокаменной библиотеку нелегальной литературы.

Когда Виргиния приехала в Москву, в квартире Валерьяна уже разместилась внушительная библиотека. Сам он жил в маленькой комнатке, отведя остальные под книги и бумаги. По стенам тянулись стеллажи, стояли столы, на которых в продолговатых ящиках располагалась картотека.

С целью конспирации библиотека имела научно-естественное направление. В первом ряду картотеки и на полках — книги общеизвестные, труды классиков естество-

знания, медицинские справочники, рецептурные своды, словари. А «крамола» была спрятана в тайниках между полками. Тут было и лондонское издание «Колокола», и листовки «Земли и воли» и «Черного передела», брошюры группы «Освобождение труда», статьи Степняка-Кравчинского, Берви-Флеровского, Плеханова, безымянные листовки, русские переводы Маркса и Энгельса, Бебеля и Каутского, рукописные отчеты о судах над Желябовым и Перовской, Петрашевским и Чернышевским, над участниками покушения на Александра Второго.

Многие врачи, служащие больницы, особенно студенты, проходившие в ее отделениях практику, широко пользовались книгами Валерьяна. В этом потоке людей были и такие, которых Валерьян без спешки, осмотрительно приобщал к чтению нелегальной литературы. Их было немного, десятка полтора, преимущественно студенты и несколько человек из числа больных, рабочие московских заводов и двое крестьян из Касимовского уезда.

Виргиния торопилась из Цюриха, так как приближался час, когда она должна была стать женой Валерьяна. Все у них было договорено, все обдумано. Виргиния воспитывалась у тетушки, и та уже не раз оказывала племяннице свою благосклонность. Помогала в учении, посылала деньги в Цюрих, одевала и обувала, пользуясь капиталом, который достался ей по наследству от умершего мужа, владельца крупной кондитерской.

Тетушка и теперь приняла все заботы о племяннице на себя. Заново была отремонтирована квартира на Тверской-Ямской, докуплена мебель, а у самой дорогой модистки заказано подвенечное платье. После венчания молодые предполагали начать совместную жизнь в тетушкином доме. Валерьяна этот вариант вполне устраивал. Его библиотека в больничном флигеле расширялась.

Но за день до свадьбы произошла катастрофа. Валерьяна арестовали. Библиотека была разгромлена, а квартира опе-

чатана. По всей видимости, жандармы уже давно наблюдали за ним, и среди читателей оказались агенты охраны.

Виргиния Ипполитовна поняла, что судьба ее круто изменилась. Со дня на день она ждала своего ареста. Ведь в создании библиотеки она принимала самое непосредственное участие. Но время шло, а ее отчего-то не трогали.

Дней через десять Валерьяну через надзирателей камеры предварительного дознания удалось передать ей сообщение, в случае привлечения ее к допросам решительно отказываться от всех подозрений, так как нигде и ни в чем он не оставил улики о ее участии в создании библиотеки. И она посвятила всю свою энергию одному — облегчить положение Валерьяна.

Но улики против жениха были слишком очевидны. Суд приговорил его к каторжным работам, постоянных читателей и распространителей нелегального чтения суд выслал в северные районы Вологодской губернии. Все книги без исключения подлежали уничтожению, и даже медицинские справочники, в которых были обнаружены вклейки крамольного содержания. После суда Валерьяна отправили этапом в Забайкалье, на Нерчинские рудники.

Виргиния дала клятву, она будет там, где окажется Валерьян. Но товарищи решили иначе: устроить побег и переправить Валериана за границу. Виргиния, опережая этап, отправилась в Сибирь, зная, что помощь ее потребуется скоро.

Глава 17

Двадцать пять лет... Много это или мало? Совсем немного. В сущности, это всего лишь десять лет сознательного бытия, а самостоятельной жизни и того меньше. Но многое в жизни относительно, и возрастные рубежи тоже.

Если тебе уже двадцать пять лет от роду, и ты женщина, и не стала еще ни женой, ни матерью, то волей неволей

задумаешься однажды, а не идут ли годы по обочине жизни, не выпадает ли твоя судьба из колеи, предназначенной Создателем человеку.

В темный буранный вечер Виргиния Ипполитовна не спеша брела к дому Белокопытова на ужин по случаю его полного выздоровления. Повод был неординарным, если учесть, что Ефрем Маркелович пролежал в постели почти три месяца. Три месяца бездействовал! Шутка ли? Без него десятник строил две школы по заказу Макушина, без него еще в одной деревне заканчивали к весеннему половодью мост через реку, и опять же снова без него в волостном селе Вороно-Пашне строили каталажку в устрашение разбушевавшихся мужиков после самовольного захвата церковной земли. И все без него! Нетерпение охватывало Ефрема Маркеловича. Эх, поскорее бы снова взяться за дело, во все вникнуть, подправить где надо, урезонить кого надо, позолотить руку исправнику за то, что пригласил происшествие на тракте... Его на все хватит, силушки ему не занимать...

Виргиния Ипполитовна вошла в прихожую, скинула шубу, сняла с головы пуховую шаль, стряхивая налипший снег.

Навстречу вышел Ефрем Маркелович в праздничном — новой тройке, белой рубашке с галстуком и штиблетах со скрипом. Он всплеснул руками:

— Боже мой! Вира, до чего же ты нынче хороша! Может, это мороз так приукрасил тебя? Смотри-ка, как горят щеки... А губы? А глаза? — он смотрел на нее с лаской и удивлением, будто видел первый раз.

— Ну, давай, Ефрем, хвали меня, хвали. Сегодня можно. Мне же как раз исполнилось двадцать пять лет. Дальше начну стареть, — засмеялась она.

— Стареть? Да ты только цвести начинаешь! Постой, а почему в черном платье? Будто траур у тебя. И как случилось, что ты ничего не сказала мне о своем дне рождения? Подарок за мной!

— А где ж гости, Ефрем? Почему тихо в доме? — Виргиния хотела скорее перевести разговор на другие темы. У нее на душе действительно был траур, ровно год назад арестовали Валерьяна.

Недавно они решили общаться запросто, на «ты». Если, конечно, детей не было рядом. За время лечения Белокопытов и Виргиния Ипполитовна как-то незаметно, само собой переговорили о многом — и о себе, и о других и почувствовали, что в их судьбах, есть что-то общее, но прежде всего одиночество — затаенное, никому не высказанное. Появилось и взаимное тяготение. Стоило Вире задержаться на час-другой, Белокопытов начинал беспокоиться и тосковать. Он звал Харитона, велел ему закладывать коня в оглобли и ехать за учительницей. А учительница... Что учительница?! И ее тоска и одиночество толкали в дом Белокопытова. Но все же до открытия сокровенных тайн было недостижимо далеко. Да и могло ли это когда-нибудь произойти? Разве кто-то другой имел право знать, что было в ее жизни прежде? Ведь это происходило совсем в иной эпохе, которая отошла со всеми подробностями в небытие вместе с Валерьяном, отошла, чтобы никогда не возвратиться.

— А ты знаешь, Вира, я немножко слукавил. Прости. Не хочу я видеть никаких гостей, а тебя за гостью не принимаю. В доме пусто... Уехали и дети, и Харитон с Устиньей на заимку. Завтра воскресенье, занятий с ними ты проводить не будешь. Пусть отдохнут, подышат лесным духом...

— А что ж меня с ними не отправил? Я бы с большой охотой провела там денек-другой,— присматриваясь к Белокопытову и замечая его волнение, сказала Вира.

— Да, Господи Боже мой, какая же непонятливая! Что он мне, дом-то без тебя? Темница! Ну, проходи скорее в горницу, проходи. Все уже на столе собрано. И так мне хочется сегодня побыть с тобой. Даже выпить хочу... Робость холерская обуяла меня. Руки дрожат, язык немеет.

— И я сегодня имею право на стопку водки... Двадцать пять лет прожито... А что достигнуто? Что сотворено? Пустота!

— Ну уж нонче ты что-то в унынии. Повеселись малость. Каяться тебе не в чем.

— Ой ли! Уж так ли не в чем?

— Душа людская — потемки. Это так. Да только что толку от терзаний? Жизнь, как вода в половодье, все смывает.

— Утешаешь, Ефрем?

— Жить надо, Вира!

— Да... Жить как-то надо.

Они вошли в горницу, освещенную висевшей под потолком десятилинейной лампой. Круглый стол был изобилен. Устинья, умная баба, заранее догадывалась, о чем пойдет речь у хозяина. Постаралась. Да и из дома убралась на заимку, как на парусах. Бог им судья, а люди только помешают в такой необыкновенный час.

Они сели напротив друг друга. Белокопытов налил водку в стопки.

— Давай, Вира, выпьем за твои двадцать пять лет. Не знаю уж, кому как, а мне ты кажешься совсем юной,— сказал Белокопытов.

— Нет, Ефрем! Вначале выпьем за твое выздоровление. Все-таки мы в твоём доме, и я со своей круглой датой не совсем к месту... — запротестовала Виргиния, приглядываясь к Белокопытову, втайне любясь его открытым доверчивым лицом и крупной головой с волнистыми волосами.

— Ну пусть будет так. Не стану тебе перечить. А как влип-то я! Почесть двенадцать недель отлежал. А делов, Вирушка, накопилось страсть как много! Все ж на тракте живем, им, родным, и кормимся. Ну, с Богом!

Они выпили, она аппетитно и с удовольствием, он, морщась, слегка покашливая.

Виргиния продолжала смотреть на него неотрывно и пристально. «Наверняка зазвал меня сватать в жены...

А что, мужчина достойный! Надо же было родиться с такими глазами... А вот возьму и выйду за него! Окажусь сразу в народе... Хозяйкой стану... Батраков начну грамоте обучать. Доить коров научусь. Детишек ему нарожаю. Таких же ладных, как он, и синеглазых... Недаром говорят: женщина без детей — пустоцвет... Даже самые лучезарные идеи без детей — одно звонарство, мыльные пузыри, игра... Двадцать пять лет! Вот-вот и время минует, улетит, как птица в небеса. Эх, что за мысли! Видно женщина в тебе проснулась...», — размышляла Виргиния.

— Чтой-то ты, Вира, сегодня на меня смотришь и смотришь, а? Как будто мы с тобой и в знакомстве никогда не были, — спросил Белокопытов, настораживаясь под ее пристальным взглядом.

«А что? Оригинально, необыкновенно оригинально... Женщина эмансипированная и просвещенная идет замуж за деревенского богатея...», — промелькнуло в ее голове.

— Красив ты, Ефрем. Вот потому и смотрю на тебя, — помедлив, сказала она.

— А ты сама-то разве не красавица? Вон зеркало-то, посмотришь-ка.

И она послушно обернулась, увидев себя в трюмо, стоявшем позади нее. И та, кого она увидела, весьма понравилось ей: гордая посадка головы, роскошные волосы, рассыпавшиеся по плечам, крепкий и выразительный бюст, лицо милое, нежное. «А ведь и в самом деле привлекательная», — подумала она и вздохнула.

— А ты знаешь, Вира, зачем я тебя позвал? — сказал он с волнением в голосе.

— Догадываюсь, Ефрем.

— Вот и молодец. А то я дрожу, как парнишка. Тебе двадцать пять, а мне тридцать пять будет на пасхальной неделе. Думаю, как оглушишь меня, старик, мол, а туда же в женихи лезешь...

— Не кокетничай, Ефрем! Сам про себя все знаешь.

— Да я что? Я на себя не жалуясь еще. А вишь, судьба какова... Вдовец как-никак. И двое детей...

— Дети — твое счастье. Благодарю вечно первую жену.

— Экая ты, с понятием! А другие нос воротят, жених, мол, неплох, кабы не дети. Ну так пойдешь за меня или побрезгуешь деревенским, трактовым? — Белокопытов встал, глядя на Виргинию горящими глазами.

— Ефрем, любовь не терпит расчетов. Твоя я! Твоя! — и она кинулась к нему. Он подхватил ее и поднял на сильных руках, легко и свободно.

Обвенчались они в Каюровой. Народу в церкви было мало, как говорят, Евсей, Михей, да Колупай с братом. Белокопытов не хотел выставлять напоказ трактовому люду невесту, выбрал церковь подальше да поскромнее. Знал он, какой суд-пересуд идет по селам и хуторам. Смотри-ка, что удумал подрядчик! Высватал себе в жену городскую. Она и учительница, и фельдшерица. До чего ж расчетлив мужик! А все ж не по себе сук срубил. Неизвестно куда его кривая вывезет. Как бы не начала образованная причуды выказывать. Эх, то ли дело своя, деревенская, — знай только на нее покрикивай, да кнутом помахивай, да для порядка сурово поглядывай.

— Завидуют! Завидуют, стервецы, счастьем моим, — поскрипывая зубами, шептал Белокопытов.

Глава 18

Виргиния переехала в дом мужа. И началась у нее жизнь незнакомая, совсем для нее странная.

Чуть наступало утро, первой к ней спешила Устинья.

— Распорядись, хозяйюшка, как и что по дому робить. Ночью Субботка отелилась, и Красушка вот-вот теленочка принесет. Будем теляток-то выхаживать на семя или на мясо начнем растить? А еще пасечник приехал, спрашива-

ет, воск на свечной завод в Томск везти или прямо в собор Казанской Богоматери.

Виргиния Ипполитовна беспомощно моргала глазами, пожимала плечами:

— А уж ты, Устинья, сама решай, как лучше.

Но такой ответ не устраивал Федотовну.

— Да ведь как можно? Не хозяйка я. А Маркелыч — нравный мужчина, всему ведет счет, каждую соринку норovit в дело пустить.

Оно и лучше бы спросить самого Ефрема Маркеловича, да только его след простыл. Только неделю просидел он возле молодой жены, а потом запряг жеребчика в кошеву и помчался по округе по своим неотложным делам.

А дел у него и в самом деле непростоворот. Тут школа заканчивается, там церковь под купола вышла, чуть подальше по тракту амбар под казенный хлеб плотники спешно рубят, в волостном селе земство больницу задумало построить. Разве Белокопытов упустит такой подряд? Эге, не на того напали!

Устинья с мужем Харитоном поначалу-то сочувствовали новой хозяйке, не обвыклась, мол, не присмотрелась, жизнь научит уму-разуму, зайца и того, сказывают, можно обучать спички зажигать. Да только их расчеты не оправдались ни наполовину, ни на четверть, ни на одну сотую даже. Быть хозяйкой Вира не только не умела и не могла, но и не хотела всей душой.

Ефрем Маркелович, узнав как-то о явно несуразных распоряжениях жены, попробовал с любовью, с осторожностью попрекнуть Виру в упущениях. И услышал от нее такое, что язык прикусил.

— А живи-ка сам в доме, не бросай меня по неделям одну. И учти, я тебе не приказчица, а жена! А уж, если вздумал взыскивать с меня, то взыскивай за учение детей. И только! Что умею, то делаю,— гневно сказала она и долго ходила по дому хмурая.

Белокопытов приласкал ее, думал, что поплачет она и конец неприятному разговору, но ошибся. Жена замолчала на целый день, как в рот воды набрала. «Нет, не ошиблись люди. Срубил ты сук не по себе»,— раздумывал он.— «Шутка сказать, не бросай меня одну по неделям. Да если он будет сидеть возле нее, как возле куклы, разве пойдут у него дела? Разве пятак обернется гривенником, а гривенник целковым? Так не то что капитала не наживешь, но и родительский спустишь!»

Свою беспомощность в управлении хозяйством понимала, конечно, и сама Виргиния, но ей и в голову не приходило беспокоиться по этому поводу. Что придумал, высчитывать доход от того или иного дела! Она знала, что хлеб и одежду дает работа. И была убеждена, раз будет работа, будет и хлеб, и одежда. Остальное ей не нужно, остальное лишь обременяет жизнь, делает тебя рабом.

Глухо, еще неосознанно, по каким-то отдаленным вспышкам Виргиния в конце первого месяца замужества стала понимать, что совершила поступок роковой. Пыталась переубедить себя, доказать себе же, что поступила правильно: «А что же делать? Валерьян невозвратен, а Ефрем любит меня всем сердцем». Но это приносило успокоение на день-два, а потом снова тоска сжимала грудь и все чаще думала она, что срок ее жизни исчерпан.

Как-то по весне, когда уже лист распустился на деревьях, а травы буйной зеленью брызнули из земли, к дому Белокопытова подъехал всадник. Нарочно ли или уж так само собой случилось, приехал он в отсутствие Ефрема, который по обыкновению колесил по округе.

— Виргину Ипполитовну можно повидать? — постучал он в окно. Она и распахнула его, будто кто-то подтолкнул ее.

— От Касьянова вам почтение,— сказал всадник, вытаскивая из внутреннего кармана пиджака измятый конверт.

Виргиния побледнела, застучала кровь в висках. Дрожащей рукой она взяла конверт.

— Сто коробов вам счастья,— поспешил сказать всадник и, кивнув головой, заспешил от дома на тракт.

— В добрый путь,— едва слышно произнесла она, но всадник уже скорой рысью удалялся по узкому проулку.

Набросив на дверь крючок, Виргиния вскрыла конверт, на котором не значилось никакого адреса, и развернула свернутый вчетверо листок из ученической тетради. Всего два слова: «Заимка Лисицына». Чуть ниже вычерчен кружок, от которого шли три линии. В конце крайней линии слева, как бы подпирая ее, была обозначена твердым нажимом скобка.

Сдерживая дыхание, Виргиния внимательно вгляделась в чертеж и сразу поняла, что на нем изображено место захоронения Валерьяна. Она была готова сейчас же кинуться, но приближался вечер и отправляться в путь, на ночь глядя, не было никакого смысла.

Утром она позвала Харитона, и сказала:

— Запряги, пожалуйста, коня в тележку. Да посмирней который. Поеду в лес, надо мне привезти несколько растений. А то лето наступит, и будет поздно выкапывать. И не забудь положить в телегу лопату с топором. И еще пару корзинок побольше.

Харитону хотелось услужить хозяйке, он предложил ей поехать вместе с ней, помочь справиться работу.

— Спасибо. Занимайся своим делом. Я и сама справлюсь. И уж, пожалуйста, не беспокойся, это место я еще с осени приглядела.

— Воля ваша, барыня,— учтиво поклонился Харитон, чуть улыбнувшись в усы: «Эх, хватит Маркелыч еще горюшка с этой бабой».

Оказавшись на тракте, она внимательно присматривалась к дорогам, поворачивающим от тракта вправо. Запросто можно было не заметить нужного поворота. Трава заравнивала и ступицы от телег, и колдобины от вешних потоков. Но вот обозначился первый поворот к заимке Лисицына, через версту — второй. Вира потянула правую

вожжу, конь фыркнул, но послушно потянул телегу в густой березняк, перемешанный с ельником. Сторожко озираясь, присматриваясь к просеке в лесу, женщина увидела впереди громадную березу, изогнувшуюся над дорогой дугой.

«Вот она-то и есть скоба на чертеже!» — догадалась она. Под самым изгибом березы она остановила коня, взяв лопату, принялась раздвигать не сопревший еще прошлогодний бурьян. И вдруг увидела на стволе березы крест, прорубленный топором по жесткой, местами почерневшей бересте. А в трех шагах от корневищ, обнаживших свои могучие узлы, скреплявших дерево с земной твердью, открылся ее взору холмик, уже покрывшийся травкой.

— Валерьян, я пришла к тебе! — прошептала она, встала на колени и обхватила холмик раскинутыми руками. Сотрясаясь всем телом, она зарыдала.

В каком-то внезапном и ярком озарении на нее надвинулись подробности того рокового дня: пурга над трактом, напряженное ожидание этапа и подвод с боевиками, стрельба в заснеженном лесу, ночь на хуторе Лисицына, и известие, что его уже нет. А потом мятежное отчаяние, схватка тоски и боли, и безразличие ко всему. И это нелепое замужество, как прыжок в омут с закрытыми глазами... И жизнь с человеком, который наверняка и есть виновник ее горя.

Она потеряла счет времени, лежала на земле и будто слышала голос Валерьяна, судившего ее страшным судом презрения.

... Белокопытов появился дома на закате. Он в ярости замахнулся на Харитона и обругал Устинью за то, что отпустили они Виргинию одну. Вскочил в седло и погнал коня что было мочи на поиски жены.

Как ни таили томские боевики все, что произошло в тот зимний вьюжный день на тракте, скрыть неизвестную могилу у лисицынской заимки им не удалось. Многие знали

о ней, а тем более Ефрем Маркелович, один из участников ограбления почты, допустивший со своими трактовыми дружками такой просчет, такую горькую ошибку, что с души воротило. «Ах, недотепы безмозглые! Бросились фартовые за деньгами, не узнав даже, а взята ли наличность в банке!» — ругался тогда Ефрем Маркелович.

Когда он прискакал к березе, изогнувшейся дугой над просекой, на лесные трущобы опустились сумерки. Первое, что увидел он на фоне неба с кроваво-красными всполохами, висевшее на вожжах тело Виргинии. Конь, подойдя к ветвям дерева, шатром накрывавшим дорогу, стал жевать молодые березовые листья.

... В Томске в тот вечер, в доме Петра Ивановича Макушина, шумела свадьба Шубникова и Луизы.

А Сибирский тракт жил своей жизнью, не затихая ни днем, ни ночью. Мчались державные тройки, тащились подводы крестьян, звенели цепям этапы арестантов, отмечали бесчисленные версты беглецы и поселенцы...

1989 год

Писать
куда приятней,
чем пристраивать

(из писем Георгия Маркова и Агнии Кузнецовой 1935–1945 гг.)

18 июня 1935 года

Мой родной Георгий!

Сегодня получила твоё письмо с письмами Коли¹, Бежицкого² и Сенько.³ И почему-то все эти письма вместе с твоим глубоко взволновали меня. Мне кажется, что все твои радости и неудачи тревожат меня гораздо сильнее, чем мои собственные. Как странно! А ведь когда-то мы были чужими, и ты с такой опаской приходил ко мне. Тяжелее всего сознание, что я непосредственно причина всех твоих переживаний (см. прим. 1). Но ведь за это я тебе отдала всю себя, всю жизнь, все мысли.

Я много-много думаю о всем случившемся. Вечерами сижу в саду. Луна прячется за деревьями. Но со мной твои мысли, и я мысленно беседую с тобой. Видишь ли, с одной стороны, с общечеловеческой и философской — все это ерунда, мелочь, которой не стоит утруждать свою голову и сердце. С другой стороны, то есть с обыденной — это большой и тяжелый удар. Я думаю, нам надо стараться достигнуть первой точки зрения.

Плохо, что в предстоящих неприятностях в Омске не будет меня, и ты не поделишь их вместе со мной. Но ты, голубчик мой, в тяжелые минуты помни, что, возможно, с литбригадой меня пошлют в Бурятию. Когда ты станешь писателем — тебе здесь дела всякого интересного найдется много. Я только все тоскую о деревне. Мне так хочется непрерывного окружения природы и простых, хороших людей.

20-го звали кататься на лодке. Может, пойду, я еще не была в лесу. Теперь о моей голове: болит редко, но, очевидно, все-таки нужно лечение. Сейчас очень неудобное время. Все медицинские силы разъехались.

Мокей Фролович⁴, наверное, пришлет мне травы, я писала ему. Попробую сначала это средство, в него я верю больше.

1 Николай Драчев — друг Георгия Маркова

2 Бежицкий (не установлено)

3 Сенько (не установлено)

4 Мокей Фролович Марков (1869–1948) — отец Георгия Маркова



Спасибо, родной, что пишешь часто, храню твои письма как самое дорогое, что сейчас есть у меня.

Будь бодр и спокоен.

Обнимаю крепко и целую мою родную щеку.

У Миля¹ есть щеночек Лялька, очень походит на тебя.

Привет от всех.

Твоя Агния

Примечание 1. Основным поводом для снятия Георгия Маркова с должности редактора газеты «Молодой большевик» (1935) было то, что его жена — дочь белогвардейского офицера.

Приводим выдержку из протокола заседания Оргбюро ЦК ВЛКСМ Омской области от 25 апреля 1935 года:

«Слушали:

... О тов. Маркове Г.М. (тов. Шунько).

Высказывались: Марков, Аксенов, Малакишер, Кузик, Лесовский, Шабанов, Фадеев.

Постановили: обсудив материалы расследования и заслушав объяснение тов. Маркова, Оргбюро ЦК ВЛКСМ Омской области устанавливает, что тов. Марков, получив от первичной комиссии по чистке партии устное указание о необходимости порвать связь с социально-чуждыми родителями своей жены (отец жены — офицер-пепелявец).

Не выполнив полностью этого указания, продолжал поддерживать связь и допустил переезд матери к себе на жительства в Омск...

Отмечая серьезное политическое значение поступка тов. Маркова и учитывая, что подобное поведение не может быть совместимым с пребыванием на руководящей комсомольской работе, Оргбюро ЦК ВЛКСМ Омской области постановляет:

¹ Миля — Эмилия Александровна Кузнецова (Францкая), старшая сестра Агнии Кузнецовой

1. тов. Маркова с работы редактора газеты «Молодой большевик» снять за нарушение указаний комиссии по чистке партии, непринятие мер для разрыва связей с социально-чуждыми родителями своей жены, что является не чем иным, как притуплением классовой бдительности со стороны тов. Маркова.

2. Просить ЦК ВЛКСМ и обком ВКП (б) утвердить решение Оргбюро о снятии тов. Маркова.

3. Вопрос о партийности тов. Маркова передать на рассмотрение обкома ВКП (б)».

26 сентября 1935 года, уже на заседании партколлегии КПК по Омской области, в семейном положении Георгия Маркова были обнаружены новые нежелательные для коммуниста подробности.

«... Установлено при разборе дела, что Марков действительно имел связь с социально чуждым элементом — отец жены штабс-капитан пепелявец. На разрыв связи было сделано устное замечание комиссии по чистке, однако Марков этого не выполнил и связи не порвал.

Отец Маркова по справкам с/совета хлебопашеством не занимался, был солдатом Японской и Китайской кампаний, до революции имел зажиточное хозяйство с применением наемной рабочей силы...»

Комиссия постановила:

«... Маркова Г.М., за обман партии, скрывание соц. происхождения (зажиточность отца), невыполнение указания комиссии по чистке, за использование служебного положения — назначение своей жены (дочь пепелявца) секретарем редакции «Ленинские внучата» (сам был редактор), как идеологически неустойчивого из рядов ВКП (б) исключить».

27 мая 1938 года

Георгий! Только что вернулась с совещания по утверждению плана. Ольхон¹ поднял вопрос о том, что издательство и Союз писателей не должны упустить «утечку в Москву такого капитального романа, как «Строговы». Молчанов,² Ровинский³ и Григорьева (из Москвы) присоединились к этому.

Вообще о твоём романе говорили много. Григорьева также заинтересовалась и моим рассказом, говорит, что надо издать здесь и что с Огневой она поговорит.

От тебя получила две открытки с дороги.

Ну, мы с Максимом⁴ ложимся спать. Спокойной ночи, мой родненький.

Вчера прислали тебе повестку из военкомата, меня не было, а Буба⁵ написала на обороте, что ты выехал в Москву.

Побывай за меня в театрах и музеях. Если будешь у Огнева⁶, поинтересуйся моей рукописью. Вот пока и все. Желаю тебе пожить это время интересно. За меня не тревожься. Я ведь не одна, а с нашим сынишкой.

Целую крепко. Скорее доканчивай роман и используй все возможности.

Агния

Ольхон и Молчанов усиленно уговаривают меня воздействовать на тебя в смысле издания романа здесь.

¹ Анатолий Сергеевич Ольхон (1903–1950) — поэт, фольклорист, переводчик, журналист.

² Иван Иванович Молчанов-Сибирский (1903–1958), советский поэт и писатель, в 1930-е работал в Иркутском отделении Союза советских писателей.

³ Александр Андреевич Ровинский (1887–1968). В 1930-е годы руководил иркутским книжным издательством.

⁴ Предполагалось, что первенцем в семье будет мальчик, которого хотели назвать Максим, но 25.08.38 г. родилась дочь Ольга.

⁵ Домашнее имя Анны Леонидовны Бутаковой (Кузнецова), мамы Агнии Кузнецовой.

⁶ Огнев (не установлено)

Уезжаем 30 мая, в 5 вечера (в санаторий — Ред.). Одновременно с этим письмом почтой на Зоино¹ имя перевела тебе 1000 руб.

5 июля 1938 года

Агненька! Не писал тебе дня два-три. Собственно говоря, и сейчас написать что-либо существенное относительно романа не могу. В предыдущем письме я тебе уже сообщал, что роман 27 июня передали Павленко². Тот сказал, что постарается прочитать к 5 июля. Значит, к сегодняшнему дню. Но звонить сегодня не буду. Думаю, что не прочитал. Возмусь за это завтра, то есть с 6 июля. 29 июня через секретаря Павленко я узнал, что роман у него. «Да, я читаю, но рукопись большая, и я еще не прочитал» — так сказал Павленко секретарше. В общем, как только станет все ясным, я тебе тотчас же сообщу. Возможно, телеграммой.

У меня есть его телефон (домашний). К тому же ежедневно с 2 часов дня он бывает в Союзе³. Важно, чтобы он никуда срочно не уехал. Каково будет мнение о романе, не предполагаю даже. Как говорится, поживем — увидим.

Пробовал читать тетке⁴, но получилось неважно. Она просила читать всю 4-ю часть, а я решил в отрывках. Прочитал несколько главков, мне надоело, и у нее тоже времени было мало.

А вчера ездил к ним прощаться. В 10 часов вечера они на пароходе поехали до Сталинграда. Оттуда путь их в Тиберду (курорт на Кавказе). Из Тиберды по Военно-Грузинской дороге на автомобилях поедут до Тбилиси, отту-

¹ Приезжая из Иркутска в Москву Г. Марков жил у старшей сестры Зои.

² Петр Андреевич Павленко (1899–1951) — советский писатель.

³ Союз писателей СССР

⁴ Евгения Николаевна Домбровская (1885–1974) — сестра Александра Николаевича Кузнецова, отца Агнии Кузнецовой.

да в Батуми, а из Батуми по морю, кажется, в Одессу. Из Одессы хотят прилететь самолетом в Москву, 15 августа. Бабушка¹ нынче не одна. Вчера к ней из Горького приехал ее брат, кажется, Иван Павлович.

Не знаю, сколько будет стоить им это путешествие, но видимо тысяч 5–6 надо.

Два дня жил Колька²! Были с ним на матче (футбольном) на стадионе «Динамо», ходили в парк имени Горького. Он решается продлить учебу, одновременно хочет поступить в лит. творческий институт. В этом ему помогает преподавательница русского языка и литературы. О романе моем он ни слова не сказал, о твоём рассказе почти тоже. Говорит, что не понравилась одна фраза. А вот какая, что-то не помню. Завтра собираюсь съездить к нему.

Теперь относительно покупок. Я уже писал тебе, что клеенку детскую я купил. Ранее купил 2 байковых одеяльца. Купил тебе сандаlette. Денег мне переведи телеграфом рублей 300–400. Это на всякий случай. Больше не надо. Купить себе пальто или костюм очевидно не сумею. Все мои усиленные попытки пока безуспешны. Относительно твоего пальто тоже. Отсюда вывод — береги деньги, вполне возможно, что будем покупать тебе доху. Здесь она намного дороже. В коммиссионках ничего подходящего нет. Был в них по указанию Тамары³. 7 июля моя тужурка будет готова. Мастер говорит, что делает хорошо. За покраску взяли 50 руб. Отдал покрасить туфли тоже за 50 руб. Разбил все подошвы.

Рис обещал достать Колька. Масла топленого тоже, конечно, постараюсь привезти.

Думаю, что осталось жить мне здесь не долго. Павленко, видимо, окончательно внесет ясность.

1 Александра Павловна Кузнецова (1856–1942), бабушка Агнии Кузнецовой.

2 Николай Драчев — друг Георгия Маркова, с которым он работал в новосибирской газете.

3 Тамара Владимировна Абаладзе (1905–1982) — приемная дочь Евгении Николаевны Домбровской.

В Москве стоит испепеляющая жара. Вчера было +32.

Сегодня пришло письмо от Парасковьи¹. Ничего особенного, все пока по-старому.

Миля прислала письмо, в котором сообщает, что намерена перевести денег на туфли. Тоже не знаю, сумею ли что-либо сделать. Ей нужно кофейный цвет и ботиками, а есть с прорезью в середине.

Ну, вот пока и все. Да, постарайся ответить старику. Что купить деду² с Бубой просто ума не приложу. Тебе, очевидно, куплю сорочку.

Относительно деда. Надо бы подумать о деревне. Я туда доеду и выясню все возможности.

Напиши обязательно, что сказали тебе в Консультации. Береги себя, голубка. Мне хочется еще много и долго любить тебя. Думаю, что с появлением Максика все это еще больше окрепнет. О своем выезде из Москвы сообщу телеграммой.

Целую и обнимаю.

Твой Георгий

1 Прасковья Моисеевна Маркова (1896–1960) — сестра Георгия Маркова.

2 Александр Николаевич Кузнецов (1879–1958) — отец Агнии Кузнецовой.

19 июля 1938 года

Аганька! Сообщаю ход вещей. Наконец Белкина¹ написала отзыв. Она указывает ряд положительных и отрицательных моментов. Больше отрицательных. Много в ее замечаниях спорного, но много и верного. Но заключение в целом таково, что автор способный, работает серьезно и добросовестно, и книга может быть интересной.

На этом основании мне предложили заключить договор, по которому издательство обязывается помогать мне, а я докончить отделку романа. Это предварительный договор. Сегодня речь шла об этом. Конкретно вырисовываются следующие контуры соглашения: редактором будет, очевидно, Белкина. С ней я буду работать до конца. В целях стимулирования моей работы издательство будет платить мне по 400 руб. в Москву. Срок окончания соглашения 1 января 1939. Все равно ресурсы этого года уже закончены. При заключении соглашения я получаю 400 руб., остальные 2200 переводятся мне к 15 числу каждого месяца (по 400 руб.). Если я закончу работу раньше, то заключаю договор, причем из суммы гонорара вычитается сумма, взятая из издательства. Если же я разрываю договор — нужно вернуть деньги. В общем, это соглашение — неизбежная ступень, которой не минуешь.

Меня она вполне удовлетворяет. Единственное, чего боюсь, так это затяжки издания (издают бесконечно долго). На этот случай я окончательно не выбрасываю Иркутск. Подробно поговорим с тобой, а пока не считаю целесообразным ставить об этом кого-либо в известность.

Если издательство не передумает, я подпишу 20 августа, после чего могу собираться в путь-дорогу и за работу. Причем мне сказали, что если понадобится приезд в Москву в процессе работы — издательство может предоставить это дело за свой счет.

¹ Белкина (не установлено)

Относятся ко мне с большим вниманием и даже дают кое-какие преимущества. Всем остальным молодым платят по 250 руб., а потом — всего только тысячу.

Вот таковы дела. Если это проделать удастся, значит, поездку надо будет считать оправданной. Связь с издательством будет крепкая, а это 99% всего дела в будущем!

Вчера были в парке Горького. Выступал Павленко, Сурков¹, Луговской², Эми-Сяо³. Получил Милины⁴ деньги, но выполню ли ее просьбу, сказать боюсь. Не от меня это зависит. Сегодня купил 8 кило рису. Ну, вот пока все. Если все сложится, как я пишу, дам через день-другой телеграмму.

Как ты себя чувствуешь? Твою телеграмму получил.

Целую тебя и обнимаю... Страшно стосковался по тебе, моя милая жена и друг. Всем привет.

P.S. С шубой твоей, видимо, ничего не выйдет. В комиссиях подходящего не встретил.

¹ Алексей Александрович Сурков (1899–1983) — советский поэт.

² Владимир Александрович Луговской (1901–1957) — советский поэт

³ Эми Сяо (1896–1983) — китайский революционер, поэт, писатель-публицист, литературный критик, главный редактор ряда журналов.

⁴ Эмилия Александровна Кузнецова (Францкая) — (1905–1986), сестра Агнии Кузнецовой.

24 января 1939 года

Аганька! Получил от тебя вчера сразу и открытку, и письмо. Разговор с Молчановым ты вела верно. Все это, конечно, чертовски неприятно, но что поделаешь.

Не думаю, что все это пройдет бесследно. Возможно, на этом пункте будет затор. Тем более что В [неразборчиво] сейчас в курсе всего и, разумеется, здесь доложит. Завтра мне окончательно скажут, будут они со мной заниматься или нет. То же самое и «Кр. Н.»¹.

Дело с Союзом² затеяно зря. Надо б прежде спросить меня. Союз — это дело будущего. Верно «Лит.газета» писала, что каждый писатель должен пройти три ступени. Первая — произведение, вторая — успех, а третья — Союз. Я же перешагиваю еще первую ступень, и будет ли вторая, неизвестно. В общем они переоценили мой успех.

Я хотел вначале звонить об этом Молчанову, но решил сделать вид, что это меня не касается. При случае же скажешь Молчанову, что Союз — это ассоциация мастеров, а я лишь пока подмастерье. Это моя точка зрения.

Да, впрочем, точно известно, что В.Ш.³ уехал к вам к Коле⁴. Как видишь, теперь не осталось ни одного, кто принимал участие в деле, о котором ты беседовала с Молчановым.

Вообще же по тем вопросам не вступай ни с кем в объяснения, а при крайней необходимости говори то же, что сказала М [олчанову]. Особенно верно ты подчеркнула вопрос о возвращении. Так ведь и было. Все письма посыпались к тому, кто грабил. Тут явная линия! Страшно надоела мне неопределенность. Надо просто иметь стальные нервы, чтоб все это выдержать. Сегодня, между прочим, ходил, но зря, позабыл, что четные дни не приемные. Ни-

1 Журнал «Красная новь».

2 Союз писателей СССР.

3 не установлено.

4 не установлено.

кого нет. А ты еще сердилась за свою рукопись. Попробуй-ка, продвинь!

Купил тебе хорошую общую тетрадь, объединенную с блокнотом. Это для будущих литературных замыслов.

Страшно хочется видеть Ольгунчика¹. В памяти она у меня все еще как малышка.

Целую и обнимаю тебя. Скорее бы к тебе, к твоим мыслям. Всем приветы. Готя.

1 Дочь Ольга.

26 января 1939 года

Аганька! Получил твои два письма от 18 января. Мое мнение такое: рассказ следует издавать. Конечно, теперь ты написала бы по-другому, но что же поделаешь. Книжку будут и хвалить, и ругать. Ждать чего-то еще нет смысла. Но при правке будь к себе строже. Может быть, что-нибудь новое придумаешь с Николаем Ивановичем¹. Мой совет — печатай. Учти, общая обстановка такова, что весной будет не до литературы (может и так быть)².

Сегодня в Союзе (Союзе писателей — Ред.) видел Вадуцкого³. Произвел какое-то удручающее впечатление. Молчалив. Дал мне свой домашний телефон (очень сдержанно). Сказал, что прочитал в Иркутске мой роман, ознакомился с обстановкой и говорил «с вашей женой». Не знаю потому ли, что ему стало известно твое интервью или почему-либо еще, но он как-то ко мне слишком меланхоличен. Мои дела по-прежнему ни с места, но учти, что действую я активно. Все три экземпляра в ходу. Сегодня договорились с ... (неразборчиво), что роман я дам в Комиссию, будет читать он и Макаренко, после этого обсудят. Я согласился. Пусть поругают, зато я буду чувствовать себя увереннее. Завтра поеду к Митрофанову⁴. Он скажет свое мнение. Его очень ценят. Говорят, понимает очень крепко.

В Гихле⁵ тянут, присматриваются, прислушиваются. Одно мне ясно, что роман можно издать здесь, но все дело во времени. Это будет, даже если в журнале, не раньше чем через год, месяцев 8–10 минимум. Вот и всплывает вопрос: стоит ли ждать? Поправки я сумею сделать очень быстро, так что

1 Николай Иванович (не установлено)

2 Видимо, речь идет о предстоящей войне.

3 Вадуцкий (не установлено).

4 Александр Георгиевич Митрофанов (1899–1951) — советский писатель, в 1930-х годах заведующий отделом прозы журнала «Красная новь».

5 Государственное издательство художественной литературы.

часть я уже проделал тут. Все дело в общей обстановке. Надо непременно выпустить в первой половине 1939 года. Потом, возможно, будет уже поздно. Я говорю, что в связи с международной обстановкой, которая пестра и может перед каждым из нас поставить совсем другие задачи.

Вот потому я не упускаю из виду Иркутск и потому прошу, чтобы ты поговорила с Молчановым в такой плоскости: если он не изменил своего решения о редактировании, пусть начинает чтение и как можно строже подходит к рукописи. Чувствую, что у вас дома сутолока, теснота, но что же будешь делать. Главное, не отчаивайся и не теряй вкуса и радости жизни. У меня у самого часто «скребут кошки», но надо не поддаваться этому. Я все-таки постараюсь свои дела довести до какого-то конца.

Отрадно то, что познакомился с рядом писателей. Кстати, очень хорошее впечатление произвел Бабель¹. Я дал ему часть романа читать (всю Анну Строгову). Он руководит бригадой молодых. Тоже будет обсуждение. Для меня все это очень важно. Просто проверить себя. Так что трудно сказать, во что конкретно все это выльется.

Во всяком случае падать духом не стоит. Потому в Иркутске все-таки издадут, если, конечно, не испугаются того, о чем ты беседовала с Молчановым. Скажу откровенно, что писать в тысячи раз приятнее, чем устраивать написанное...

Ты постарайся быть спокойнее и зря не нервничать. Ленку² можно призвать к порядку, а с Бубой не вступай в переговоры и делай все по-своему. Действительно, это человек с норовом, понимаю теперь И.В.³, коли родные дочери говорят «жить невозможно». Главное, берегите

1 Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940) — российский и советский писатель и драматург.

2 Елена Францкая (Шастина), племянница Агнии Кузнецовой, дочь Эмилии.

3 Иван Вацлавович Францкий (1905–1979), муж Эмилии, старшей сестры Агнии Кузнецовой.

Ольгунечку, не простудите. Кроватку прикрывайте непременно. А дед курит в комнате? Это ужасно! Хоть чаще форточку открывайте.

Думаю, что это все-таки будет недолго. Наверное, дело эпизодическое. А почему деда так скоро выписали из больницы, ведь операция была сложная?

Ну, пока все, голубка моя родная, не падай духом и не отчаивайся.

Что рассказывает Костюковский?¹

Деньги, если можешь, пока придержи. Неизвестно, каковы у меня будут дела. Эх, жаль, что нет Горького! Он умел решать так: Да или Нет. Теперь некому.

Пиши. Всем привет!

Приласкай Оленьку!

Тебя много и нежно целую и обнимаю!

P.S. Купил Оле две кофточки, две рубашечки, платье, а тебе купил красную косынку.

¹ Борис Александрович Костюковский (1914–1992) — иркутский детский писатель, публицист, драматург.

19 февраля 1939 года

Аганька, родная моя!

Вот уже пять дней от тебя нет никаких весточек. Как вы? Мои дела тянутся и, очевидно, выяснятся дня через два. Роман читается в альманахе «Год XX»¹ и в ГИХЛе. Причем, в этом, последнем читает Резник², который дал обещание 31 января все это дело решить за три дня по прочтении. Каково будет решение, не знаю. В Кон... меня (неразборчиво) очень поддерживают и говорят (сама заведующая), что Митрофанов был не прав, и его разговор возмутителен. Во что это выльется, сказать затрудняюсь. В альманахе Коростелева обещала прочитать к 4 января.

Вчера я слышал разговор Смелянской³ с Бабелем. На ее вопрос, каково его впечатление, он ответил «интересно написано». 5 января будет обсуждение в ГИХЛе с участием Бабея. Возможно, что роман мой все-таки не сбросят со счетов, но с печатанием, что очень важно для меня, будут тянуть.

Вчера опубликовано постановление Верховного Совета о награждении писателей.

Павленко — орден Ленина, Митрофанов — Знак Почета. В ГИХЛе мне говорили, что Митрофанов якобы сказал, что «по-человечески я ему нравлюсь».

Почему-то обошли молчанием Бабея, Олешу⁴, Светлого⁵ и Голодного⁶.

Роман читали два орденосца. Один очень похвалил, а второй критиковал субъективно, но не отвергал.

¹ Литературный альманах, основанный М. Горьким в 1933 г.

² Резник (не установлено).

³ Смелянская (не установлено).

⁴ Юрий Карлович Олеша (1899–1960) — советский писатель, поэт, драматург, сатирик.

⁵ Светлый (не установлено).

⁶ Михаил Семенович Голодный (1903–1949) — советский поэт.

Вадецкий дал мне свой телефон, но дозвониться не могу. Вообще у меня такое впечатление, он почему-то избегает меня. Возможно, он кое в чем и помешает, а, может быть, уже и помешал. Ведь его повесть идет в «Красной Нови». Вчера вместе с Колькой¹ были в клубе писателей, на обсуждении романа смоленского писателя Аристов. Дроздов² показывал мне «Литобозрение» № 2 за 1939 год. Там есть статья обо мне. Сказано хорошо, хотя считают, что «все написанное о городе слабее деревенского». Есть примерно такие строки: «Строговы» не останутся в литературе незамеченными, Дубрава³ сделал умную и добросовестную работу». Журнала в продаже еще нет, это был авторский, прислали из редакции.

Сегодня купил обратный билет на 9 февраля. К этому времени все мои дела прояснятся. Всем говорю, что еду 5 февраля. Привезу тебе один подарок, которым, знаю, будешь очень довольна. Купил его с помощью Тамары⁴, которая очень участливо относится к моим делам... Подарок этот не туфли (не радуйся!), а пуховый берет, которые покупают тут только с рук. Сегодня начну паковать кульки с маслом, считаю, что это самое главное.

В общем, думаю, что скоро вновь буду с тобой. Очень скучаю по тебе, и, если говорить прямо, думаю о тебе с гордостью, вспоминая дочку. Как приятно сознавать, что ты теперь настоящая жена и мать моего ребенка.

Странно, но все произошедшее с тобой усугубило и усилило мои чувства к тебе, обострило желание и стремление жить с тобой, именно с тобой, женой. Сам с собой все чаще называю тебя женой, но в широком и хорошем смысле этого слова. Хочется какой-то полнокровной семейной жизни, может, потому, что только теперь почувствовал тебя сво-

1 Роман «Строговы» вышел под псевдонимом Егор Дубрава.

2 Николай Драчев.

3 Дроздов (не установлено).

4 Тамара Абаладзе.

ей. Хочется, чтобы ты жила так и отдыхала на морях... Ну а ты чувствуешь ли в себе какие-то изменения? Может быть, я наоборот, стал дальше для тебя? Жду, не дождусь, когда увижу и почувствую вновь, что ты моя нераздельно.

Целую тебя и обнимаю крепко-крепко, мой друг и жена. Дочку целую много раз, она внесла что-то новое в мою душу, что-то хорошее и большое, сам еще не знаю что. Может быть, это и есть отцовство?

Привет всем

Твой Георгий

30 октября 1942 года

Аганька! Сулимов¹ едет в Иваново на курсы, пользуюсь случаем и посылаю вам кое-что к празднику. Думаю, что будет кстати. Твое письмо и все, что посылали, получил. Рыбу прислали зря. Пирог ел с удовольствием, столовая преснятина надоела до чертиков. Ты беспокоишься за мое питание — это напрасно. Кормят нас хотя и не очень хорошо, но — самое главное — регулярно, три раза в день. Мы сыты.

Как, интересно, у вас? Если стало в столовой плохо, делайте что-нибудь дома. Во всяком случае голодать вам (и тебе в особенности) не советую, в этом нет нужды.

С моим приездом пока дело неясно, хотя редактор и сказал Молчанову: можно де ему поехать числа 4–5.

Я лично сомневаюсь. В связи с праздником много работы. Пишу в праздничный номер большую статью «Родное Забайкалье!». Будет на три колонки.

Соскучился по тебе и по Ляпику² страшно. Ее почему-то вспоминаю последние дни, маленькие ручки, бойкий

1 Сулимов (не установлено).

2 дочь Ольга.

говорок, глазки «порознь» — и меня терзает. Но, что же делать? Правда, относительно лета у меня кое-какие планы есть, но они целиком зависят от обстановки здесь.

Вообще же нестерпимо хочется поговорить, увидеть тебя рядом с собой, ощутить атмосферу семьи. Вижу, как многие живут здесь, как легко и быстро забывают жен и детей, и вот чувствую против всего этого какой-то яростный протест в душе. Возможно, и зря это — трудно, тяжело это, но иначе не могу. И вот порой мелькнет мысль, а каков ты сам? И совершенно отчетливо ощущаю: если ты свершишь что-нибудь, даже самое малейшее, что могло бы оскорбить мою душу, уйду невзирая ни на что. Трезво вижу: будет тяжело, а уйду — стал суров в эти дни ко всякой неправде в человеке. Говорю тебе это не как предупреждение (отчасти и так, потому что раньше и мог бы по сердечности своей простить), а как убеждение, которое ничем не изменить. Может быть, потому и не могу уступить твоей просьбе меньше заботиться о вас. Это для меня не только долг, но и то, что скрашивает довольно однообразную жизнь чем-то невыразимо приятным. Возможно, по натуре я бродячий человек, но душа у меня семьянина, мужа и отца. Очевидно, поэтому ощущаю как-то всем строем души своей возросшее свое право на тебя целиком и полностью. Вообще же скажу тебе: много я передумал и многое ощутил за эти дни нашей разлуки. Как-то раньше никогда не думал об этом так, как в этот раз. Но обо всем не напишешь, а если увидимся скоро — поговорим.

Целую крепко-крепко тебя и наказываю беречь дочь, ибо все это наше, общее. А есть ли что-нибудь светлее этого в нашей жизни?

Твой Георгий

P.S. Тороплюсь. Времени много. Тебя вечно помню и вижу, именно вижу, и это радует и в то же время до дикой боли томит и терзает.

г. Чита, 18 мая 1943 года

Аганька! Сегодня предстоит разговаривать с тобой по телефону, но т.к. разговор может почему-либо не состояться, пишу тебе это письмо.

И.И.¹ едет до 6 июня. Я вначале тоже собрался поехать, однако редактор рассоветовал. Во-первых, необходимо, чтобы кто-нибудь один из нас был здесь, во-вторых, моя поездка более длительная (редактор сказал так: «Поедете на месяц, а потом я еще две недели прибавлю»), а в начале июня (5–10) здесь созывается совещание, на котором я выступаю с докладом. Приезжать на это совещание из Иркутска ни то, ни се, тем более что к докладу надо еще готовиться, и это время в случае моей поездки в Иркутск пришлось бы урывать за счет «Строговых». В-третьих, партийные дела мои в высшей инстанции еще не продвинуты, и откладывать их надолго тоже нельзя².

Короче говоря, пришлось поездку отложить. Стало быть, если все будет в порядке, никакие чрезвычайные или непредвиденные обстоятельства не изменят хода жизни, то приеду в июне, числах в 10–15. Это, конечно, печально, потому что я очень соскучился и по тебе, и по Оле, но делать нечего, и другого выхода нет. Остается лишь ждать и желать того, чтобы ничто не помешало осуществлению намеченного плана. Во всяком случае ты не огорчайся, думаю, что пока сделано это правильно.

С И.И. посылаю деньги, 1200 руб. Обрати серьезное внимание на питание. Главное — не халатничай в этом деле, старайся быть заботливой к самой себе. Я это усиленно подчеркиваю потому, что знаю вашу неповоротливость и предвижу горькие последствия этого, если будет дело запущено.

¹ Иван Иванович Молчанов-Сибирский.

² Георгий Марков обратился в Комитет партийного контроля с просьбой восстановить его в партии. Восстановлен будет только в 1946 году.

Послать больше (кроме книг), к сожалению, нечего. Если что-нибудь подвернется, то постараюсь отыскать какого-нибудь попутчика.

Забота о вас всегда составляет большую часть моих мыслей, но делаю я это без всякого раздражения или сожаления по той простой причине, что очень люблю тебя.

Родная моя, тоска сосущая и изнурительная часто накачивается на меня и в такие минуты бывает тяжело. Но стараюсь сдерживать себя, чтоб не впасть в транс, ибо этому не время. Мечтаю о днях, когда буду с тобой и займусь писанием. Кстати, наконец, удалось завершить главу, которую начал еще в Иркутске. Представляешь, как туго у меня со временем!

Еще раз напоминаю тебе о необходимости завершить лечение. Если будет желание бросить это — вспомни меня и сделай это ради меня, с мыслью обо мне.

С И.И. посеяли здесь по 50 кг картошки. Если даже соберем средний урожай, то будет по 5–6 мешков, так как зима предстоит сложная, думаю, это будет кстати. Что слышно с топливом? Если ты думаешь всерьез о новой квартире, об этом надо заботиться теперь же.

Вот пока все. Ляпика целую и ласкаю. Тебя крепко-крепко обнимаю.

*Всем привет.
Твой Георгий*

23 апреля 1945 года

Аганька, родная моя! Пользуюсь случаем, чтобы сообщить тебе кое-какие вести о житье-бытье. Ив. Ив.¹ на несколько дней едет в Иркутск. Вчера он звонил Виктории Станиславовне², и та ему сказала, что ты получила вызов на пленум. Это меня обрадовало, но вот то, что ты болеешь, это очень печально. Насколько я понял из слов, переданных Викторией Станиславовной, прихворнула ты изрядно. Я очень тревожусь. Думаю, что если состояние твое не станет лучше первого мая (ведь это вторник!), не выезжать, а повременить до восьмого мая, и в этом случае ты приедешь никак не позднее 14–15 мая и не опоздаешь. Ехать с болезненным состоянием не рекомендую, хотя знаю, что ты будешь стремиться попасть на неделю раньше. Полечись, как следует! Я уж теперь тревожусь за укусы тебя собакой. Как-то мы тогда не обратили внимания, пока это не стало окончательно поздно. Гайдай³ живет у нас и лечится: и его покусала собака.

Теперь несколько наказов тебе, если поедешь в Москву: Будь всюду построже и повнимательнее, обязательно на всякий случай захвати с собой «Ученые записки» со статьей Кунгурова⁴.

О романе. Самое главное, что не нравится, и нет абсолютно ни малейшей уверенности в том, что с изданием в Москве что-нибудь получится. Полагаюсь на тебя, предварительно все узнай. «Сов.пис.» как-то меньше меня прельщает. Не верю я, что получится какой-нибудь толк.

¹ Иван Иванович Молчанов-Сибирский.

² Виктория Станиславовна Молчанова (Прушинская) — жена И. И. Молчанова-Сибирского.

³ Александр Иович Гайдай (1919–1994) — русский советский поэт, журналист, старший брат кинорежиссера Леонида Гайдая.

⁴ Гавриил Филиппович Кунгуров (1903–1981) — российский писатель, журналист, краевед, педагог, общественный деятель.

Короче говоря, на пленуме ты можешь повидать всех и поговорить, и с Бородиным¹, и с Чагиным².

Думаю, что окончание романа позволяет мне поставить вопрос о поездке в Москву самому. Поговори и на эту тему. Союз или издательство могут устроить мне вызов. Поговори об этом с Лейтесом³ (он секретарь военной комиссии) и знает меня. Мы жили с ним вместе в Голицыно в доме творчества.

Получила ли ты роман с Мармерштейном?⁴ Я посылал с большим беспокойством, зная его неорганизованность и беспорядочность. Но послать больше было не с кем. Интересно, как сложится дело в Иркутске? При случае дай Ровинскому понять, что я отнюдь не дорожу их маркой. Была бы рукопись, а издатель в конце-концов найдется.

Чувствую, что вторая книга должна решить мое будущее, определить жизнь на многие годы. Вероятно, потому и тревожно, и боязно так. А самое ужасное, что все кажется неважным, нестоящим, и то, что я кончил книгу, почему-то не принесло никакой радости. По-хорошему, может и в Москву возить не надо бы. Пусть бы лежала. Все до поры, до времени.

Вернулся из командировки. Пока все идет по-старому. Обстановка у нас все такая же: заедает текучка, дежурства, и день ото дня все это становится труднее.

Но ты обо мне не беспокойся. Из Москвы сообщай о себе почаще. С пленума черкни.

¹ Бородин (не установлено).

² Петр Иванович Чагин (Болдовкин) — (1898–1967) — советский журналист, партийный и издательский работник, литературный деятель. В 1939–1946 гг. — директор издательства Гослитиздат (позднее «Художественная литература»).

³ Александр Михайлович Лейтес (1901–1976) — советский литературный критик и литературовед.

⁴ Наум Мар (Наум Иосифович Мармерштейн) — (1916–1986) советский журналист, долгое время работавший в «Литературной газете».

Будешь уезжать, дай Бубе и Оле наказы. Договорись с Милей, Верой¹, Надеждой Иосифовной² и Витей³, чтобы они заходили почаще. Особенно я почему-то беспокоюсь за противопожарную безопасность. Накажи Бубе, чтобы она имела под рукой какую-нибудь веревку для окна. Я буду регулярно справляться о их жизни. Правда, не исключая, что могу уехать в командировку.

Денег с собой возьми побольше. На пленуме они могут потребоваться. Творческий семинар надо созвать сразу же после твоего приезда. Пусть тот, кто останется за тебя, по получении сообщений о твоём выезде из Москвы известит политуправление о созыве творческого совещания членов и кандидатов ССП СССР по итогам пленума. Иван Иванович расскажет, как надо будет сделать все это.

Посылаю свои облигации. 600 рублей я внес в фонд обороны. Получила ли мой перевод? Я выслал 700 руб. еще 18 апреля.

19 апреля — день своего 34-летия я провел на границе. Было ветрено, сумрачно и на душе уныло.

Ну, будь здорова и спокойна. Береги здоровье. Целую тебя, голубка моя, крепко, крепко. И жду дня, когда снова будем вместе. Ляпика приласкай за меня.

P.S. Думаю, возвращаться ты будешь в мирное время. Так может случиться! Как пойдет дело у нас, пока не ясно.

¹ Вера Заорская, жена иркутского художника Алексея Жибинова.

² Надежда Иосифовна Баторина работала в Иркутском отделении Союза писателей СССР

³ Виктория Станиславовна Молчанова (Прушинская), жена И. И. Молчанова-Сибирского.

19 сентября 1945 года

Аганька, родная моя! Наконец вчера после долгих мытарств я добрался до своих. Возьми карту и посмотри мой путь: перевалив Хинган я оказался в городе Гиньси, потом в Уданчене, в Чифэне, оттуда я выехал через Чаоян и Ичжоу к морю в Цзиньчжоу и через Мукден приехал к своим. Тут я прочитал твои письма, которых ждал как самый дорогой подарок. Жаль, правда, что письма эти уже устарели (последнее от 18 августа). Это те, что ты посылала на п.п. 34675. Таким образом, все дошло.

По письмам сужу, что ты очень нервничала. Я столько пережил, столько испытал, что и сейчас дивлюсь, как мне удалось выйти целым. Еще вначале я столкнулся с диверсантами, потом въехал на своей машине в самый центр боя, на самолете едва не взорвался и так далее. Когда встретимся, расскажу подробно, а сейчас скажу, ничего не преувеличивая: всегда, когда надо мной висела угроза, я думал о тебе и о Ляпике. Не пойми это как попытку приукрасить свои чувства. Война жестокая штука и не терпит красноречия.

Я очень много видел. Сижу сейчас за повестью «Солдат пехоты»¹. Единственно плохо, что я, будучи оторванным от своих, не смог дать вовремя материала и потому очень переживал. Дело, конечно, не в наградах (вероятно, я получу меньше всех), а в самочувствии. Война была скоротечной, и требовалось делать все быстро. Борис² и Кеша³ были неподалеку от своих, и смогли серьезно поработать. У меня же все оказалось на будущее. Я напишу «Солдат пехоты»

1 «Солдат пехоты» — повесть была издана под названием «Орлы над Хинганом», по которой были сняты фильмы «Приказ — огня не открывать» и «Приказ — перейти границу».

2 Борис Александрович Костюковский, иркутский писатель, служивший вместе с Георгием Марковым корреспондентом армейской газеты.

3 Иннокентий Степанович Луговской (1904–1982) — советский поэт, журналист, служивший вместе с Георгием Марковым.

и «Маньчжурский дневник»¹. Очень рад, невыразимо счастлив чувствовать себя целым, и теперь уже реально (были минуты, когда казалось это несбыточным) думать о встрече с тобой, с Олей², с дорогими и близкими мне людьми.

Сегодня вновь рано поутру перечитал твои письма. Родная моя, я вижу, как было тебе тяжело... радостно, что это продлится недолго.

Я пишу тебе хаотично и хочу лишь поставить в известность, что я добрался. Полтора месяца не был в бане, грязен. Как только приведу себя в порядок, напишу еще.

Письма Миляночки³ и Веры⁴ я получил. Я очень ценю их чувства ко мне.

Ляпика успокой и приласкай.

Всем, всем большой привет.

Крепко целую тебя.

Твой Георгий

1 «Маньчжурский дневник» — повесть была издана под названием «Моя военная пора».

2 Оля — старшая дочь Георгия Маркова.

3 Эмилия Александровна Кузнецова.

4 Вера Заорская.

Хабаровск, 29 ноября 1945 года

Родная моя, четвертый день живу в Хабаровске, а от тебя по-прежнему не звука. Дважды (утром и вечером) хожу на почту, но все безрезультатно. Все попытки связаться по телефону окончились неудачей — линия забита. Возможно, удастся сделать что-нибудь через Комарова¹, но все это дело будущего.

Жизнь идет в ожиданиях. Вчера заходил Комаров с ленинградским поэтом Битовым². Мы с ним были знакомы еще до войны и поэтому встретились как старые приятели. Он уволен из армии по контузии. Комаров говорит, что будто бы есть решение ЦК о возврате всех членов Союза, но так ли это, ведает один Бог.

Говорил с Мельянцевым³, ссылаясь на ту самую телеграмму, которая была получена Политуправлением. Он обещал выяснить и сказал мне, что он лично дал мне заключение о возвращении к творческой работе. Пока остается одно — ждать. Все эти вопросы решает Москва, там сидит специальный человек (далее неразборчиво).

Комаров агитирует меня и Кешу переезжать сюда, обещает помочь с квартирой, но желания у меня нет. Опасаюсь только, что этот вариант может получиться против моей воли.

Второй день сижу над «Солдатом пехоты», Давнее время не работал и сейчас вступаю с большим трудом. Живем мы пока там же, где и работаем. Долго ли так будет продолжаться — боюсь сказать. Есть разговорчики о возвращении.

Очень хочу знать все твои новости. Пиши мне подробнее о своих настроениях, о Ляпике, о том, как вы существу-

1 Петр Степанович Комаров (1911–1949) — советский поэт. В 1943–1946 гг. возглавлял Хабаровское отделение Союза писателей СССР.

2 Ленинградский поэт Битов (не установлено).

3 Мельянец — редактор армейской газеты «На боевом посту», в которой в годы войны работал Георгий Марков.

ете. Напиши, как вы питаетесь, дают ли вам лимиты, как с деньгами, во что вы одеты? Хочется все-все это знать. Твое молчание ввергает меня порой в отчаянье. Вчера послал телеграмму Милянчике. Очень, очень беспокоюсь за тебя, моя родная. Прошу тебя беречь себя. Может, будет еще и у нас немало радостных и приятных дней. Как поживает Ляпик? Она почему-то давно ничего не писала мне. Видимо, забывает — и расстояние, и время делают свое дело.

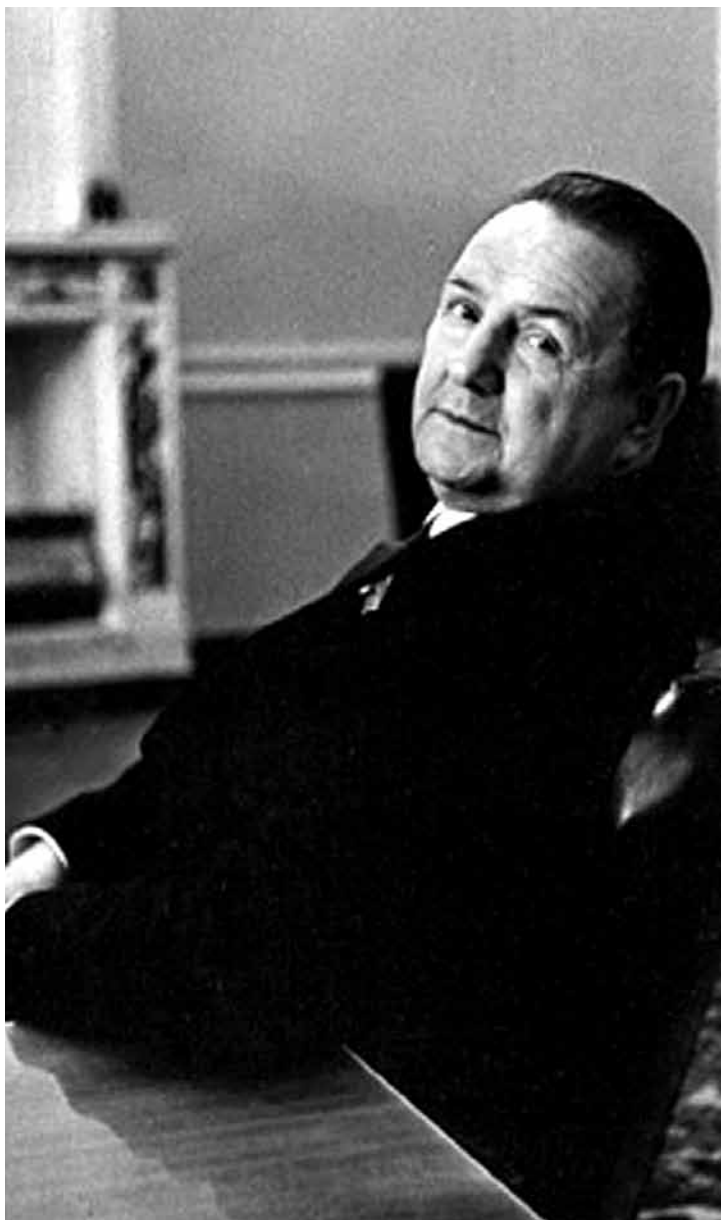
Кеша живет со мной, а Борька где-то пристроился (кажется, у Александрова). Мы с ним серьезно поскандалили, и он теперь дуется, как девчонка, строит из себя обиженного, хотя, по обыкновению, виноват во всем сам.

Передай мой большой привет Алексею Петровичу¹ и Вере, Францким и всем домашним.

Буду писать тебе часто. Пиши и ты. Если судьба заставит жить тут долго, надо, чтобы и ты приехала сюда. Как ты думаешь? Крепко целую тебя, мою единственную и родную. Ляпика крепко обнимаю. Твой Георгий.

1 Алексей Петрович Жибинов (1905–1955), известный иркутский художник, ученик Павла Филонова. Портрет Агнии Кузнецовой его работы находится в Иркутском художественном музее.

Вспоминаем...



И другие добрые дела

Константин Скворцов

... Так случилось, что я был самым молодым секретарем правления Союза писателей СССР. Как это произошло, могу только догадываться...

В начале восьмидесятых годов «вражий голос» — радиостанция «Немецкая волна» передала отрывки из моей драмы о создателях советской атомной бомбы. У нас ее не пропускала цензура — советские реакторы были «самыми надежными» в мире, а в моем сюжете — авария. Это было незадолго до Чернобыльской трагедии. Естественно, что Г.М. Маркову, председателю правления СП СССР была спущена директива дать оценку моему творчеству. Вызвали в Москву, — я жил тогда в Челябинске, — поселили в гостинице «Москва», хотя я был согласен и на общежитие Литинститута. На обсуждение я принес восемь или десять драм в стихах, чем удивил весь секретариат. В то время жанр драматической поэзии, по словам Ю.И. Суровцева, считался вымершим. Георгий Мокеевич Марков начал с того, что секретариат в разные годы обсуждал творчество и московского поэта Роберта Рождественского (очевидно, после его нашумевшей «Поэмы о разных точках зрения»), и казахского Олжаса Сулейменова, и вот теперь решили обсудить творчество поэта-драматурга с Урала. В то время в каждом номере «Литературной газеты» печаталась рубрика «В секретариате правления СП СССР», где публиковался краткий отчет о работе: какой вопрос обсуждался, кто выступил и т.д. Так было и на сей раз (июль 1985 года). В отчете были не только лестные для молодого про-

винциального автора слова, но в следующем номере «ЛГ» опубликована целая полоса — фрагмент из той самой драмы о И. В. Курчатове. А следом, по решению секретариата, вышел объемный том моих сочинений в издательстве «Советский писатель». После моего обсуждения, устроенного не без участия замечательного прозаика и драматурга Э. Ю. Шима, автора киносценариев по произведениям Георгия Мокеевича Маркова «Строговы», «Соль земли» и других, я оказался в Москве и был избран рабочим секретарем правления СП СССР.

Я всегда сторонился кабинетной работы, поэтому, как только появилась первая возможность уйти на «вольные хлеба», я ею воспользовался. Известные события начала девяностых годов тому поспособствовали... Союз писателей СССР был в те времена настоящим министерством литературы со своей строкой в государственном бюджете страны. Это положение мы ныне утратили и, мне думается, навсегда.

Всё, о чем я говорил выше, так или иначе связано с Марковым. Георгий Мокеевич был одним из немногих (если не единственным) руководителем Союза писателей, который знал практически всю отечественную литературу, никогда не путал даже самые диковинные для славянского уха имена и фамилии писателей наших республик и зарубежья, не говоря уже о литераторах Урала, Сибири и Дальнего Востока. И не было ни одного классика, в кавычках и без них, в судьбе которых он не принял бы участия.

В шесть часов утра он просматривал основные газеты (что неоднократно и мне советовал делать), потому и был всегда в курсе всех событий не только литературных, но и далеких от неё. В выходные дни с раннего утра он совершал вояжи по книжным магазинам Подмосковья, скупая книги провинциальных авторов, и обязательно их прочитывал. Как он это все успевал, для меня и теперь непостижимо!

Время, в которое он руководил Союзом писателей СССР, конечно, уже не было фадеевским — «расстрель-

ным», но и простым его не назовешь. Союз писателей, как организация, не был свободным профессиональным союзом, подчиняясь во многом идеологическому отделу ЦК КПСС, но каждый писатель был вправе, как и сегодня, выбрать свой путь, свою судьбу в литературе. За это, повторюсь, уже не расстреливали, но и чаще всего не печатали... Однако именно по инициативе Маркова, а не столько ЦК, мы возвратили в страну А. И. Солженицына, добились отмены пресловутого постановления ЦК КПСС по ленинградским журналам «Звезда» и «Ленинград» и, как говорил поэт, совершили «другие добрые дела...».

Дорогой мой человек

Ольга Маркова

В жизни мне очень повезло — рядом со мной долгие-долгие годы были мои родители. С рождения на меня смотрели две пары заботливых карих глаз... Раннее мое детство выпало на военные годы. Отец, приписанный к Забайкальскому военному округу, был на Восточном фронте в качестве военного корреспондента газеты «Суворовский натиск» и «На боевом посту».

Наверное, первое мое осознанное воспоминание относится примерно к 1942 году. Я помню нашу комнату в коммуналке, где мы жили в Иркутске, завешанные плотными шторами окна, включенный репродуктор на стене рядом со старым буфетом. Лампочки не горят. Темно. Я с бабушкой. Мы ждем окончания учебной воздушной тревоги. И вдруг в комнату врывается полоса света из распахнутой в коридор двери, и в этой полосе, как волшебник в ярком сиянии, стоит папа. Он в шинели, с рюкзаком за спиной, в шапке-ушанке.

— Оля! Ляпик мой! — кричит папа, хватая меня на руки и прижимает к себе.

Я ощущаю прохладу его шинели, обнимаю его за шею и шепчу:

— Почему ты так долго ко мне не ехал?

— Идет война, — объясняет папа, — Я и сейчас приехал в командировку, совсем ненадолго. Ты ведь знаешь, я работаю в редакции газеты, пишу про смелых и сильных людей.

Я слушаю, а сама мечтаю, чтоб эта редакция провалилась под землю, а мой папа был бы всегда со мной. Удивительно, но помню я это до деталей, до слова, до каждой

морщинки вокруг смеющихся папиных глаз так отчетливо, будто произошло все накануне.

А еще помню август 1945 года. Было жарко и душно, казалось, вот-вот разразится гроза, и вдруг над нами полетели самолеты. Их было много. Они летели долго, наполнив улицу нескончаемым гулом моторов. Люди стояли, подняв лица вверх. Кто-то плакал. Мы с подружкой Люськой тоже, задржав головы, смотрели на эти самолеты: одиночки, пары, тройки. Нам объяснили — самолеты летят на Восток, теперь там началась война...

Папа оказался на передовой, с войсками прошел через Мукден, Чанчунь и другие города, освобождал Китай. Вся эта эпопея вылилась потом в папин роман «Орлы над Хинганом», написанный уже позже, после войны...

Не писать папа не мог. Насколько я помню, в Иркутске он работал каждый день с утра до обеда. Еще до войны, оставаясь со мной дома, он садился за стол, брал меня на колени, и мы писали «Строговы». Затаившись, я часами смотрела, как из-под пера на бумагу выскакивают мелкие буковки, липнут друг к другу и тянутся-тянутся слева направо, образуя длинную дорожку. Папа прерывисто дышал, старый стул под ним скрипел, за окном гудели машины, но нам не было до этого дела, мы работали.

Уже в Москве, когда он возглавлял Союз писателей, привычный режим работы стал иным. Он вставал рано, читал прессу, а потом садился к столу и писал своим мелким убогим почерком, пока за ним не приходила машина. И папа откладывал рукопись до следующего утра...

Папа отличался удивительным трудолюбием и дисциплинированностью. Его комсомольская юность приучила к внимательному отношению к окружающему, любознательности и... порядку во всем. Рукописи на его столе всегда высились аккуратными стопками, карандаши и ручки — в стаканчике, отдельной пачкой — газеты, отдельной — журналы. «Так жить проще», — говорил он.

Я не хочу писать о папе как выдающемся писателе, общественном деятеле и политике. Я хочу показать, что партийный функционер мог быть человечным, легким, веселым, любопытствующим. О творчестве пусть пишут критики, читатели же пусть читают книги.

Итак, в феврале 1946 года папа демобилизовался. Спустя некоторое время он написал и издал вторую книгу «Строговых». Однажды радостный, с улыбкой на губах, он вошел в дом и, хитро прищурившись, отозвал меня в сторону.

— Оля, я получил гонорар, и мы пойдем с тобой в магазин, и что-нибудь непременно купим.

В разоренной после войны стране трудно было что-то купить, но мы отправились в «Комиссионку» и обнаружили там изумительной красоты черный, будто лаковый, с яркими цветами чайный сервиз немецкого производства. Формы чашек вызвали изумление своей причудливой красотой. Сервиз мы купили. А по дороге прикупили еще пряники и сушки. Прокравшись в дом, извлекли из комода скатерть и накрыли стол к чаю. Восторг домочадцев, а также прибежавших на восторженные вопли соседей помню до сих пор!

И вот еще случай. Родители по приглашению итальянского графа Чини уехали в Италию. Вернулись полные впечатлений от страны, от итальянцев, которые никогда не спят, а все ночи гуляют, танцуют и поют... К Новому году мы с папой уже разучили увиденное там танго «Белая лошадь». Думаю, что он сам додумал постановку этого танца, особенно в конце, когда надо было вытянуть ногу под углом в 45 градусов к другой ноге и встряхнуть ей, как это делает лошадь, отгоняя назойливых мух. Мне казалось, что папа выполнил все па этого танца на пятерку. Гости и хозяйка были от нашего дуэта в восторге.

А сколько километров мы прошли по переделкинским дорожкам, гуляя по выходным на даче! И не раз, разговаривая совершенно на посторонние темы, папа вдруг останавливался и, хлопнув себя по лбу, говорил: «Нашел! Он дол-

жен поступить совсем иначе. Пошли домой, надо записать». И мы возвращались. Меня это всегда крайне удивляло! Но он — к сожалению ли, к радости ли! — не умел до конца расслабляться, отвлечься, он постоянно думал о своих героях, взвешивал сюжетные ходы, отработывал диалоги.

Как и большинство сибиряков, он очень любил родственников — братьев, сестер, их детей. И реальным праздником для него были встречи с ними за нашим большим столом. Начиналось все с обрывочных шуток-прибауток, постепенно перетекая в русло воспоминаний о детстве, друзьях, родителях. И даже мои компании были ему интересны, и он порой искренне обижался, если узнавал, что мы собрались вдруг без него.

В годы перестройки я жила в Швейцарии. Папа очень болезненно воспринимал развал страны, крушение тех идеалов и идей, которыми руководствовался всю жизнь. Разговаривая по телефону, я ощущала его беспокойство, нервозность, сомнения. Он мог бы сказать нам: «Сидите там, в тишине и спокойствии, вкусно кушайте и безмятежно спите». Но он сказал: «Ребята, сейчас вам надо быть здесь, на Родине. Давайте-ка, поскорее приезжайте!»

25 сентября 1991 года папы не стало. Это было как раз в те дни, когда страна осталась без руля и без ветрил, а наша интеллигенция еще не поняла, на каком она свете. Редакции газет мучались вопросом, давать или не давать некролог о смерти председателя Союза писателей СССР. Решились на это только две газеты — «День» и «Литгазета».

Сегодня немало писателей с благодарностью вспоминают папу. Однажды даже слышала, как известный поэт прокричал, обращаясь к своим коллегам: «Демократии захотели?! Вот и получили ее по полной программе! Ни домов творчества, ни гонораров, книги за свой счет издаем! Маркова почаще вспоминайте!»

Спасибо

Юрий Скоп

Каждое утро много-много лет кряду, молитвенно поминая усопших своих родителей, родственников, благодетелей, друзей, я непременно произношу, причем, в самом начале синодика, имя Георгий...

С ним, человеком с таким именем, я вблизи не только поименно: он — Георгий, я — Юрий. Нет. Наша близь особая, корневая. Он и я — земляки. ЗемЕли. Он и я из Восточной Сибири, из Иркутска. Там он, Георгий Мокеевич Марков, написал, а я прочитал его великолепнейший роман «Строговы», а затем через всякое-разное, дотянулся и встал с ним в единый, профессиональный ряд-строй.

Господи, вот уж не думал, что когда-нибудь возьмусь за перо, чтобы хоть как-то, в силу отпущенного мне дарования, оживить образ дорогого мне человека. Ведь он, об этом скажу сразу, сыграл в моей судьбе решающую роль. Благодаря Маркову, его воле, его руке, подписавшей необходимейшие тогда документы, я на самых-пре-самых законных основаниях получил право на вступление в жилищно-строительный кооператив Москвы, с последующей постоянной пропиской в столице. Что это такое, уверен, знают достаточное количество творческих людей. Потому что «московская прописка» тогда — да и сейчас, наверное,— было чем-то, как минимум заоблачным по сложности-трудности, но главное, бюрократической преодолеемости.

Но намеренно обрываю порядковую плавность автобиографического припоминания и как бы верну из прошедшего времени в настоящее тот последний раз, когда видел в живых Георгия Мокеевича Маркова.

24 июня 1986 года в зале заседаний Большого Кремлевского дворца в десять часов утра, открылся VIII съезд писателей СССР и буквально через полчаса после его открытия Горбачев — помните, был такой? — ничего не сделав, в буквальном смысле этого слова навсегда отодвинул себя от моей души этим ничегонеделанием.

Дело было так: на главную трибуну государства поднялся председатель Союза писателей СССР Георгий Мокеевич Марков и начал, как это и было положено советской системой, читать обязательный отчетный доклад.

Горбачев сидел совсем близко от трибуны, справа, у самого прохода. И вот, где-то на второй или третьей странице текста, микрофоны умолкли. Потянулась, все затягиваясь и затягиваясь, странная пауза. Зал напряженно смотрел на безмолвно стоящего Маркова, не понимая, что происходит. Можете себе представить, какая тишина сгустилась? А Марков молчал, молчал, молчал... И совершенно не двигался, будто окаменел. Наконец, по залу пополз, пошел, побежал шумоток-догадка: Маркову плохо... Плохо Маркову ... Маркову плохо!

Да накажет меня Господь, если вру: я смотрел на Горбачева и думал о нем. Я ужасно хотел, чтобы он, именно он, первым поднялся со своего места и первым подошел к парализованному нервным кризом Маркову. Ведь он же сидел так близко от трибуны, ведь это было бы так здорово, так по-человечески...

— Встань! Да встань же ты! — мысленно кричал я Горбачеву из зала. Но школа аппаратной выучки не подразумевала в нем спонтанных, не отдрессированных на заседаниях Политбюро действий. Генеральный секретарь ЦК КПСС мог сколько угодно публично распространяться о человеческом факторе,— а тогда, в первые годы перестройки, он об этом самом факторе говорил и говорил неустанно — но сам же, вскарабкавшийся на вершину аппаратной иерархии, о том, что такое человек, вряд ли умел задумываться.

Не встал тогда Горбачев, не протянул руку конкретной помощи своему же партийному товарищу, и намного старше его по возрасту. Уводили с трибуны Маркова другие, безымянные, те, кому было это и положено Системой...

Все... Память беззвучно подкладывает на монтажный стол следующий, возможно, заглавный эпизод.

Да, я жил и работал в Москве. Писал и издавал книги. Отучился на Высших режиссерских и сценарных курсах. Снялся как актер в фильме «Странные люди» у Шукшина, готовился к актерской же работе в его предстоящей киноэпопее про Степана Разина. И все это время — годы! — я жил как придется. Чаще всего нелегально, потому что московской прописки у меня не было. Что греха таить, я из всех сил пытался зацепиться за Москву. При этом шел на все: взятки, кормежки-обеда, подарки и так далее. Но все лопалось где-то на московских верхах. И вот один очень уж изворотливый деляга, за деньги, конечно, подсказал: за тебя должен похлопотать первый секретарь Союза писателей СССР Г.М. Марков...

И тут уж мне подфартило несказанно. Оля Маркова, теперь, конечно, Ольга Георгиевна, дочь Георгия Мокеевича, работала тогда в издательстве «Советский писатель». И там однажды я рассказал землячке о своих бедах. Короче говоря, спустя время, меня принял ее отец. Принял душевно, мягко, понимая, наверное, как нервничал я в тот момент. Георгий Мокеевич, взглядываясь в мое лицо, спросил:

— Все это хорошо... Издаетесь, пишете. Но этим живут все писатели. А что у вас есть такое, что выделяет вас из всех, что может стать серьезным основанием для официальной прописки в Москве? Что? Подумайте...

Я не забыл и никогда не забуду той минуты. Момент своего чрезвычайного напряжения... Я перелистывал самого себя, а ничего исключительного голова не предлагала.

— Не знаю, Георгий Мокеевич... — наконец выдохнул я.

И вот тут я увидел, как блеснули его глаза. Только зрачки. Само лицо не изменилось никак. Он вдруг посмотрел в сторону окна и тихо-тихо сказал:

— А кино?

Это был парашют. Спасательный круг. Подушка безопасности...

— Ну, да... Конечно! Я же четыре года буду сниматься у Шукшина в Степане Разине.

— Во-от... — улыбнулся Георгий Мокеевич. — Прямо сейчас поедете к Шукшину и возьмете у него справку об этом. И принесете ее моему помощнику. Вперед!

Примерно через год или чуток побольше я получил заветное разрешение на вступление в жилищный кооператив Москвы. И с того момента любая милицейская проверка отлипала от меня тут же. Я стал москвичом. И стал им благодаря Георгию Мокеевичу Маркову, человеку, поверившему в меня. Это очень, поверьте, очень много...

А еще я видел глаза своего поручителя, причем совсем близко, когда он вручал мне орден Дружбы народов. Они, ей-богу, были прекрасны своей сердечностью. Я и сейчас ощущаю теплую твердость его рукопожатия. И помню то, что не поддается словам.

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Георгия и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное.

Пространство и время писателя

Тамара Калёнова

Было время, когда имя первого секретаря правления Союза писателей СССР, лауреата Государственных премий, автора известных романов «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь» находилось в центре внимания читающей страны. Об этом свидетельствует более чем трехтысячная коллекция книг с дарственными надписями авторов, хранящаяся на его родине, в селе Новокусково, Асиновского района Томской области, в библиотеке, построенной на его средства. Среди дарителей впоследствии оказалось немало и тех, кто, «прозрев», перешел в стан гонителей. Но не о них сейчас речь, шаткие времена всегда богаты переметчиками. Да и не так уж они интересны. Другое дело — забвение. Глухое, тяжелое, как молчание угрюмого человека, длящееся порой десятилетиями. Сильная талантливая личность, серьезные и значимые произведения литературы и искусства, однако, преодолевают и его, на каком-то новом отрезке времени являя миру то основательное, крепкое, не подвластное разрушению, что было в них заложено. Так было и с Георгием Марковым.

Прочность его художественных произведений заложена в самом методе, с помощью которого он их создавал. Ведь Марков не только художник, но и писатель-ученый, писатель-исследователь, писатель-первооткрыватель. «Между наукой и художественной литературой есть много общего,— считал Максим Горький,— и там и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение: художнику так же, как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой —

«интуицией». Вот на этом чрезвычайно плодотворном стыке воображения и точного факта как раз и работал Марков.

Связь с ученым миром у семьи Марковых была давняя. Еще его отец, Мокей Фролович, потомственный охотник и таежник, в одиночку ходивший на медведя, не раз сопровождал научные экспедиции Томского университета, водил знакомство с профессорами. В специальном Геологическом фонде СССР хранились две заявки М.Ф. Маркова (1907 и 1910 гг.): одна на месторождение с признаками рутити, другая на месторождение с признаками свинца. Встречал Мокей Фролович в тайге золотые самородки, «железные камни», уголь и, конечно, же следы нефтепроявления.

В студенческие годы большое впечатление на молодого литератора (он уже выступал в местных газетах с небольшими рассказами, заметками) произвело знакомство с трудами томских ученых, исследовавших нефтеносность (о газе пока разговора не велось) Западной Сибири, М.И. Кучина, М.К. Коровина, Р.С. Ильина, М.А. Усова. Поразило его и утверждение академика И.М. Губкина (1932 г.) о том, что добыча сибирской нефти «может обеспечить... потребности всего народного хозяйства СССР». Будущее Сибири рисовалось в невиданных грандиозных красках.

Перед тем, как приступить к работе над очередным романом, Г.М. Марков проделывал объемную исследовательскую работу. Так, например, перед созданием романа «Сибирь» он совершил четыре путешествия по Оби и ее притокам, записал беседы с местными жителями, партийными и советскими работниками, специалистами различных профессий, учеными. Поднял архивные данные об экспедициях Томского университета начала XX века, обратился к материалам Главного переселенческого управления. На его рабочем столе появились специальные карточки, папки с сотнями газетных вырезок. Он побывал в Госплане и Академии наук СССР. И лишь потом обратился к самой работе.

На Пятом Всесоюзном совещании молодых писателей (Москва, 1969) мне повезло: я попала в семинар, который вели Г. М. Марков, Е. Н. Пермитин и известный критик А. М. Турков. «Марковский семинар», как его сразу же окрестили, был многолюдным, переполненным и, как я теперь понимаю, многотрудным для его руководителей: почти все молодые прозаики, за редким исключением, ждали взыскательного разговора по крупным формам — романам и повестям. И разговор состоялся.

Слово к «молодой гвардии советской литературы» (выражение Г. Маркова) произнес старейший поэт Николай Тихонов. Седобровый, с орлиным взглядом, Константин Федин призвал молодых к прилежной литературной учебе, этому бесконечному «перебиранию жемчуга и простой гальки», и пожелал счастливого пути в нелегкой литературной жизни.

Возрастной ценз — не старше 35 лет — для семинаристов строго выдерживался. Мне было 28, и я считалась «очень молодой», так как писала прозу. Но вот, слушая доброжелательные слова своего руководителя, я вдруг поразила простой мысли: а ведь Георгию Мокеевичу было тоже 28 лет, когда он написал первую часть своего прославленного романа «Строговы»! Я стала припоминать историю русской литературы и сделала «открытие»: все крупные писатели начинали рано, с молодых лет брали на свои плечи громадный труд и такую же ответственность, и у них не было никаких «мастер-классов»... Это был первый урок, вынесенный с «марковского» семинара.

Прошло время. Быстро, в несколько лет, на профессиональный уровень поднялись те из нас, кто заполнял в 1969 году «марковский» семинар. Юрий Антропов, Гургам Панджикидзе, Альберт Мифтахутдинов, Анатолий Черноусов, Семен Курилов...

Национальным литературам первый секретарь правления СП СССР уделял особое внимание. Не забывал он

и сибиряков, в том числе своих земляков. При его непосредственном участии в сентябре 1963 года была создана Томская областная писательская организация. В каждый свой приезд на родину Георгий Мокеевич непременно встречался с нами, интересовался новыми работами. Доступный и доброжелательный, необычайно скромный, не любящий говорить о себе, но готовый слушать собеседника долго и внимательно, он все же умел, что называется, держать дистанцию. Это была редко встречающаяся и не обидная дистанция: уважительная, но товарищеская.

Личность Г. М. Маркова, писателя и общественного деятеля, столь многогранна и значительна, что потребуются труд не одного непредвзятого исследователя. Н. С. Лесков в свое время призывал относиться к истории, и в особенности к историческим лицам, «беззлобно и с рассмотрением». Думается, его призыв актуален и в наши дни, когда история вновь и вновь переписывается, искажается на глазах изумленных очевидцев.

Разложить огонь на свет, тепло и силу горения, как советовал Белинский начинающим литературным критикам, технически возможно. А вот надо ли? И свет, и тепло трудно объяснить словами: их либо ощущаешь, либо вокруг тебя темно и холодно. Личность Георгия Мокеевича Маркова — «тепло-светлая», ее нельзя отделить от его книг, в нем самом — отделить политика от художника, его жизнь и судьбу от Сибири. Родина — это ведь не только пространство, но и время. Время Маркова, сложное, трудное и прекрасное, наполненное борьбой и созиданием, трудом во имя светлых надежд и идеалов, еще будет изучаться «беззлобно и с рассмотрением». У правды долгая и трудная жизнь, это верно. Но все-таки жизнь. А, следовательно, движение, похожее на возвращение к истокам после бессильного сплава по течению. Верю: Георгия Мокеевича Маркова Сибирь не забудет.

Вспоминаю как...

Гари Немченко

Как Георгий Мокеевич не дал мне завершить марксистско-ленинское образование

После очередной выволочки в ЦК партии,— чтобы хоть таким образом возместить себе моральный ущерб,— зашел в «цековскую» столовую: купить коробку конфет. И глазам не поверил: в буфете увидел Тамару Главак, бывшего секретаря ЦК комсомола Украины, которая когда-то была руководителем нашей группы во время поездки от «Спутника» в Канаду.

«И что ты тут, Тома, делаешь?» — спросил радостно.

«Вообще-то занимаюсь набором в Академию общественных наук,— дружески улыбнулась она.— Кстати, не хочешь пойти учиться?»

И в зале, где обычно слышался негромкий степенный говорок, я заорал так, что на нас стали оборачиваться: «Конечно, хочу, Тома! Да я просто истосковался по учебе, Тома! Поверишь ли, а?»

«Считай, договорились,— сказала она почти буднично.— Но если что, будет кому тебя поддержать?»

«Будет,— уверил я,— будет!»

«Только ты сперва разберись: подходит ли тебе это?» — посоветовала Тамара Николаевна.

Чего тут разбираться-то! Лишь бы тайм-аут взять в той сумасшедшей издательской гонке в «Совписе»! И передохнуть. И закончить давно начатый роман... Как я тогда об этом мечтал!

И все-таки мудрому совету Тамары я последовал: созвонился с учившимся тогда в этой академии Володей Муссалитиным, и он назначил час, когда мы должны совершить экскурсию по будущему, значит, моему «приюту трудов и вдохновенья».

И вот мы с ним ходим по великолепному общежитию недалеко от метро «Новослободская»: просторные комнаты, и даже казенная пишущая машинка на столе. Я чувствовал себя счастливым карлой из анекдота, бегавшим по разлегшейся на софе богатырше и, не веря своим глазам, восклицавшим: «И это всё моё?!»

Позвонил Альберту Роганову. В студенческие годы на философском факультете МГУ, с которого я убежал потом на «журналистику», мы жили на Стромынке в одной комнате. Потом пришел к нему в Московский горком партии: он был тогда секретарем по пропаганде, главным, так сказать, идеологом у Гришина.

Выслушал меня Альберт Михайлович, хитренько улыбаясь. Вдохнул и снял трубку: из разговора я понял, что звонит он в ЦК, своему тезке Беляеву. Не без насмешливой нотки в голосе сообщил, что «Немченко решил пополнить знания в области марксистско-ленинской философии». Замолк, прислушиваясь к тому, что отвечал ему «цековский» Альберт, и вдруг рассмеялся: «Да если бы все были такие карьеристы, этой проблемы просто не существовало — сама бы собою отпала!»

Я встал и с нарочитой торжественностью пожал ему руку.

«Всё, всё! — закончил он разговор с Беляевым почти приказным тоном.— Будем считать, он слушатель!» Вот тебе и сухарь-чиновник!

«Позвольте ли главному герою будущего романа — положительному, разумеется,— дать фамилию Роганов?» — дурашливо спросил я на самой высокоторжественной ноте.

«Это, пожалуйста,— сказал он.— А вот трепаться тебе больше не позволю: сегодня мне некогда».

Директор издательства Еременко выслушал мой восторженно-извинительный лепет насчет будущей учебы с большим, как показалось мне, отеческим пониманием, и лицо его приняло выражение чрезмерной озабоченности, смысл которой, как для всякого крепкого задним умом русака, дошел до меня позднее:

«Что же остается — будем ждать, когда снова вернешься в коллектив. Только вот надо тебе сходить к Маркову и поставить его в известность. Я-то не против, но заведующий редакцией — номенклатура «Большого Союза». Они тебя утверждали. Так что давай-ка к Георгию Мокеевичу. Чтобы, сам понимаешь, нас там правильно поняли».

Ждать мне не пришлось: к Георгию Мокеевичу ввел меня его всемогущий помощник Владимир Яковлевич Шорор. Марков встал из-за стола, радушным хозяином пошел навстречу: «Слышал, слышал. Владимир Николаевич сообщил мне. Что ж! Не знаю, уж, чья тут инициатива — ваша или Академии, но решение принято действительно мудрое и весьма своевременное. Поздравляю!»

«Спасибо большое, Георгий Мокеевич! — ворковал я в свою очередь. — Большое спасибо, правда!»

А он вдруг спрашивает: «Напомните-ка, кем вы туда идете?»

«Слушателем, само собой... Или как там они называются?»

В голосе у Маркова послышалось удивление, которое он даже не пытался скрыть:

«Слу-у-шателем?! Выходит, Еременко мне не так все объяснил... Или, может, я его не понял? Моя информация — Немченко идет преподавать!»

«Преподавать? — переспросил я. — Да кто же меня, Георгий Мокеевич, туда-то возьмет преподавать?»

Он прямо-таки отмахнулся: «Да что вы, что вы! Если вам за себя не обидно, то мне, например, очень даже... И всем, кто вас знает, уверяю, обидно! Да чему они там мо-

гут вас научить?! Я-то был убежден, что это вы их станете наставлять... Нет-нет! Слушатель! Да вы что?! Это прямо какое-то недоразумение...»

Умели отцы родные, отказывать, ох, умели!

От Маркова я не вышел, а выпорхнул. И полетел как на крыльях. Обратно в клетку.

Как мы дали Георгию Мокеевичу нормально отдохнуть

Посылка из Киева была тяжелая, и внутри до боли знакомо булькало... Ах, Миша, Миша! Не выдержал, решил нас в «Советском писателе» поторопить. Тащи теперь эту тяжесть в издательство. Но что делать! «Взятки — в общий котел!» — таков был уговор с редакторами.

С порога попросил секретаря редакции: «Дело Пархимова, Люда, срочно!» «Михаила Ноевича?» — уточнила она.

Редакционные умельцы тем временем сняли крышку с ящика, где обернутые кусками пухлого поролона лежали четыре литровых бутылки водки... Ну, скажу вам, ассортимент! «Старокиевская» и просто «Старка». «Горилка с перцем» и знаменитый «Спотыкач» с пляшущим запорожцем на этикетке. Полный тебе джентльменский набор!

Наши стали руки потирать. И пришлось распорядиться: «В сейф, Люда, до ближайшего праздника».

Сейчас напишу Михаилу Ноевичу... И подумал — уж я ему напишу, не поделиться ли, мол, «сорокаградусной» с Григорием Поженяном, который нас в доме творчества в Дубултах познакомил или же мне выпить самолично? Мол, как прикажете?

Но известно давно, что с благими намерениями, всё не так просто. Почти тут же раздался звонок от директора издательства — зайди, мол, срочно! А потом нахлыну-

ли другие неотложные заботы. Стыдно сказать, но «дело» Пархомова так и осталось лежать на уголке стола, надежно заваленное другими папками и бумагами, а потом вообще переключалось в шкаф: позаботилась время от времени навешивавшая на моем столе порядок трудяжка Люда.

А через несколько месяцев раздался вдруг звонок из-под Риги, из дома творчества в Дубултах. Делом Пархомова интересовался Шорор, помощник Маркова: «Не сообщите ли мне, что с рукописью? Рассмотрена ли? Каков результат?»

Конечно, я начал мямлить. Ну, не скажешь ведь, что пока закончилось лишь «рассмотрение» этикеток на бутылках из Киева!

«Великая просьба к вам, — как всегда дружелюбно сказал Шорор. — Разберитесь, а завтра я вам перезвоню. А то у нас тут каждое утро странные вещи происходят. Едва выйдем с Георгием Мокеевичем на прогулку, а из-за сосны является Михаил Ноевич и начинает спрашивать о судьбе своей рукописи...»

Хорошо, думаю, только о ней! Но что у него при этом в груди-то бушует, что у него кипит?! Ну, и гусь же, наверняка думает, этот заведующий! Такую водку выдуть, и при этом ни слова, ни полслова!

«Разберитесь, пожалуйста, — мягко говорил Шорор. — Хотелось, чтобы Пархомов побыстрее получил ответ, а Георгий Мокеевич — возможность нормально отдохнуть...»

Люда снова срочно несет «дело» Михаила Ноевича: все рецензии, благодарение судьбе, были положительными, «редзак» — редакторское, то есть, заключение — тоже.

«Ставим в план?» — спросил у редактора.

«Отчего же не поставить?! — опередил его кто-то из тех, кто не забыл еще о содержимом киевской посылки. — Там в сейфе стоят еще, кажется...»

... Ближе к вечеру в нашей дальней «комнате с самоваром» слышалось: «Ну, за что? Давайте, чтобы Георгий Мокеевич мог нормально отдохнуть!» «Пусть отдохнет хо-

рошенько!» — раздались оживленные голоса. «Дадим ему такую возможность!»

И в ход пошла уже третья бутылка — да простится нам редакционный юмор! — отменной «пархомовки»...

Как даже Георгий Мокеевич не сумел нам помочь

Тогда это было в моде: «дружить с трудовыми коллективами». Называлось это: «крепить связь с жизнью». Вот мы и задружились. Стали ее крепить.

Мы — это комиссия по рабочей прозе при Московском отделении Союза писателей, в которой мне предложили председательствовать, плюс издательство «Советский писатель». И редакция журнала «Наш современник».

Они — это управление «Череповецметаллургхимстрой». Главной заботой которого в ту пору стала «Северянка» — крупнейшая в мире домна. А начальником строительства был старый мой, еще с сибирских времен, товарищ, Николай Яковлевич Луценко.

Поначалу он, честно сказать, упирался. Вон, мол, как хорошо мы с тобой посидели на зорьке с удочками, когда ты один приезжал. А как они потом оравой понаехали, да набрались на банкете, да друг на дружке рубахи рвать стали. Оно тебе надо? А мне?!

Не вышел тогда еще из моды и анекдот про то, как жалется на трудные обстоятельства кубинский вождь Фидель Кастро и как наши ему в ответ: «Надо, Федя!» И я приобнял Луценко по-братски: надо, Коля, надо! А вот в том, что тогда было, сам виноват — свалил москвичей своим сибирским гостеприимством. Увидишь, все образуется.

Очень уж мне хотелось с череповчанами дружить! В-первых, жаль было моих сверстников, прокисавших в Москве и большого общего дела ни разу в жизни не видевших. В-вторых, и себя жаль. При виде суконных чиновничьих

ликов заела в Москве тоска по вольной волюшке. По Сибири-матушке и по горячей работе. На «ударной стройке».

А теперь вот частенько думаю, а может быть, временами ностальгия съедала и его? Маркова. А как иначе истолковать слова Шорора, сказанные в тот момент, когда передавал он мне предисловие Георгия Мокеевича к сборнику «Северянка»: «Настоятельно велел передать, что он вас хорошо понимает...»? Не станешь же уточнять, а в каком именно смысле он понимает меня.

Пообещал вступление и сделал! Слава Богу, что поддержал. И сборник, в котором будут опубликованы рассказы и очерки ведущих в ту пору литераторов, пишущих «о людях труда», получился на славу и выйдет с предисловием уважаемого писателя и самого главного литературного начальника. Как не почтить нынче и тех, кто откликнулся тогда на мой крик души и раз-другой-третий съездил в гости к строителям да монтажникам «Северянки»? Многие из них обитают теперь в мире ином. Николай Воронов. Иван Падерин. Анатолий Шавкута. Аркадий Савеличев. Владимир Мирнев. Леонид Кокоулин. Вячеслав Шугаев. Эрнст Сафонов. Анатолий Афанасьев. Владимир Еременко. И составивший тот сборник Валерий Рогов. И Станислав Пастухов, «золотое перо» из «Правды». Другим же с благодарностью хочется пожелать добра и здоровья в мире этом. Юрию Галкину. Владимиру Крупину. Владимиру Муссалитину. Руслане Ляшевой. Георгию Овчаренко, тоже бывшему «правдисту». О судьбе остальных участвовавших в «Северянке» я попросту не знаю: такое нынче время, неотзывчивое ни на радость писательскую, ни на беду. Насколько тогда мы были внимательнее друг к другу. И добрей.

«Держите нас в курсе,— сказал мне тогда Владимир Яковлевич Шорор, отдавая двухстраничное предисловие Маркова.— Как понимаю, книжка должна выйти ко дню пуска? Георгий Мокеевич пообещал, что вместе со всеми вами постарается выбраться на торжество...» И чуть ли не

жалобно добавил: «Я тоже бы вместе с вами... С большим бы удовольствием!» Но ни того, ни другого не случилось.

Перед этим мне пришлось и в шутку, и всерьез оправдываться перед Василием Беловым: извини, мол, что разбойничаем в твоих вологодских владениях, но ведь с благословения вашего земляка Викулова (Сергей Васильевич руководил тогда «Нашим современником»). Примерно в том же духе отвечал Белов: а ты мол извини, что нет времени у меня в твоём пролетарском сборнике поучаствовать.

Но на митинге по случаю пуска домны, куда Василий Иванович приехал с первым секретарем Вологодского обкома Купцовым, он дал волю характеру и поворчал всласть: ну, и где же этот твой хваленый сборник? О мастерстве и о мастерах. С предисловием Маркова. Уж не от того ли задержка, что Марков не успел написать? Я же стыдливо бубнил, что железная дорога подвела. Не пришел вагон с книгами. Заслали его куда-то...

Нашу «Северянку» я обнаружил лишь несколько месяцев спустя. И где? В Краснодаре! По пути в родную станцию. В новеньком книжном магазине сборник стоял на прилавках по всему периметру сомкнутой, что называется, шеренгой. Одна с другой встык.

«Покупают?» — горько спросил я у продавщицы. Она улыбнулась: «Несколько даже украли! Уж, больно красивые».

Когда вернулся с Кубани, дома зазвонил телефон, и уверенный мужской голос насмешливо спросил: «Ну, что, полюбовался своей «Северянкой» в Краснодаре?»

Я простодушно воскликнул: «Но как она там оказалась?»

«Отправилась на родину завредакцией!» — был ответ.

«А кто это, кстати, говорит?»

«Ага, так я тебе и сказал, кто...»

Шел 1986-й. Уже не первые, уже уверенные шаги делала перестройка. Но куда, в какую сторону?

Камертон

Филипп Тараторкин

Не бывает дня, когда не вспоминались бы мне то или иное событие, впечатление или слово, связанные с моим дедом. Мы расстались на земле, когда мне было семнадцать лет, и я остро жалею, что это было так рано и так уже давно. А с другой стороны, как знать, может быть, именно поэтому душевный, интеллектуальный, бытовой образ его настолько заполнил мою жизнь: казалось бы, это уже только эхо того общения, но какое долгое и какое внятное. Как камертон — самый чистый звук, собирающий и настраивающий душу.

В последние годы жизни Георгий Мокеевич вспоминал свое детство с тем большим воодушевлением и благодарностью, чем более непростой оказывалась для него окружающая современность. На даче в Переделкине мы с ним часами ходили по дорожкам, и он, довольный тем, что я выбрал профессию историка, рассказывал о тайге, об обычаях охотников и быте крестьянских семей, об истории сибирских переселенцев. Память у него была исключительной: он называл десятки имен односельчан разных поколений, в точности описывал маршруты охотников в тайге, места заимок, повадки зверей и птиц. И все это с подробностями, с диалогами, в лицах. Вот один из любимых его рассказов.

Уже зрелым писателем и общественным деятелем приехал он в Ново-Кусково. Разговорился с другом отца, местным охотником. «Ну что, Егорий, — спрашивает тот, — ты там, в Москве охотишься ли?» — «Да нет, не получается». — «Рыбалишь ли?» — «И на рыбалку времени

нет». — «Э-э, Егорий, — сокрушенно произносит старый охотник, — ты в Москве шибко долго-то не задерживайся, а то совсем одичаешь».

В начале 1930-х годов, в период жизни в Новосибирске, Георгий Мокеевич тяжело переболел тифом, причем выходила его будущая жена Агния Александровна Кузнецова, представившаяся в больнице сестрой больного и выхлопотавшая право денно и ночно находиться при «брате».

Правда, когда «брата» приехали навестить родители, «сестра» едва успела скрыться из виду. Но уже в следующем году, 1932-м, он пишет родителям, что в родное село Ново-Кусково приедет в отпуск не один, а с товарищем. Геннадий Игнатов, томский краевед и исследователь творчества писателя, так передает со слов Георгия Мокеевича обстоятельства того приезда домой: «Увидев идущих к дому гостей, Евдокия Васильевна [мать Г. М. Маркова. — Ф. Т.] со свойственным ей юмором прошептала Мокею Фроловичу: «Мокеша, посмотри-ка, вон ведь Готя идет с товарищем, а товарищ-то ведь в юбке, однако»». Так Агния Кузнецова впервые побывала в Ново-Кускове, которому вскоре посвятит повесть «В Чулымской тайге». Образ главного героя этой повести, подростка Готи, явно написан с натуры.

Отдельная тема, совсем мало еще разработанная теми, кто занимался исследованием жизни и творчества деда, — «Георгий Марков — исследователь».

О навыке, интересе и вкусе к исследовательской работе красноречиво говорит свидетельство самого Георгия Мокеевича, относящееся к периоду работы над романом «Соль земли»: «Там некоторые страницы посвящены описанию быта староверов. Я знал, что староверческие

монастыри за бесценок скупали у местного населения пушнину и продавали ее английским, французским и другим европейским купцам. В связи с этим я получил письмо, подписанное восемью научными работниками, в котором решительно отвергался факт существования скитов в этом районе Сибири. Но я опять-таки был твердо убежден в своей правоте. Понимая, что рассказов моего отца тут совершенно недостаточно, я проделал большую и сложную работу. Поехал в Томский музей и в его фондах нашел скарб одного староверческого скита. Там оказались вещественные доказательства моей правоты. Стал я искать и печатные подтверждения и нашел их в малоизвестной книге профессора Томского университета протоиерея Беликова «Томский раскол». Моим ученым оппонентам стыдно было не знать эту книгу. К чему я это рассказываю? А к тому, что критику надо слушать, принимать во внимание, но нельзя при первом же замечании в твой адрес отказываться от своих убеждений, от своего опыта, приобретенного годами».

Или другой пример исследовательской основательности писателя. Отдельной сюжетной линией в романе «Грядущему веку» представлена сквозная для всего творчества Георгия Маркова тема поиска и освоения природных богатств Сибири, в особенности нефти и газа. Образ старого геолога Софронникова, примкнувшего к геологоразведочной партии, чтобы поделиться опытом самостоятельного поиска новых месторождений в Западной Сибири, основан на кропотливой работе писателя с рукописями, дневниками и опубликованными трудами томского профессора М. А. Усова, предсказавшего и подробно описавшего направления и особенности разведки и добычи полезных ископаемых в томских недрах. В личном архиве Георгия Мокеевича хранятся сотни страниц сделанных им конспектов работ М. А. Усова и публикаций о сибирской геологоразведке.

* * *

Незадолго до смерти, летом 1991-го, Георгий Мокеевич, уже написавший «в стол» воспоминания о комсомольской юности и молодости, в том числе об арестах и репрессиях — в значении «арест» он почему-то непременно употреблял слово «посадки», а в ответ на мое недоумение уточнил, что тогда, в 1937–1938 гг., в Сибири говорили именно так: «посадки», — рассказал мне свой сон.

Ему приснился Сталин. Но не в прошлом, а в настоящем. Будто бы он вышел из Спасских ворот Кремля к памятнику Минину и Пожарскому, там остановился и стал пристально смотреть на нас — деда и внука, каким-то образом, в ранний рассветный час оказавшихся на Красной площади. «И я подумал, участником какой исторической встречи, какого великого события ты оказался», — сказал мне дед. Кругом бурлили общественные дискуссии о Сталине и сталинизме, не оставлявшие равнодушным и меня, в те месяцы поступавшего в Историко-архивный институт. В пылу несогласия с трактовкой такой «встречи» со Сталиным как «исторической» и «великой» я стал резко возражать, на что услышал: «Ты же хочешь быть историком! Умей различать масштаб явления и оценку явления. Это не одно и то же». Стараюсь, стараюсь...

* * *

Последняя повесть Георгия Мокеевича «Старый тракт» долго оставалась неопубликованной. При жизни ему в публикации отказали и вернули рукопись, не особо заботясь о корректности ответа. Время «секретарской» литературы, как полагали, прошло. Стало позволительно безнаказанно ругать, огульно злословить, изошренно клеветать. Деду доставалось сильно: в газетах и журналах, в телепрограммах и радиопередачах говорили много обидного и несправедливого (это при том, что личная скромность Г. М. Маркова, как и многих из тогдашних руководителей, была

притчей во языцех). Как-то раз мы с ним гуляли на Патриарших прудах. Помню, я недоумевал: «Такие ужасные вещи пишут. Многие же знают, что это все неправда. Почему же ты им не ответишь, не заступишься за себя?» Он долго молчал, потом произнес с удивительным спокойствием: «Ну, чего-то они, видно, недопоняли». И ни слова осуждения или упрека в адрес тех, которые «недопоняли».

Писатели — народ штучный

Егор Лигачев

В одном из писем ко мне Георгий Мокеевич Марков писал: «Занят предельно, временами устаю ужасно, но настроение хорошее, самочувствие ясное... Очень важно ежечасно окунать писателя в жизнь — только она изживает всяческие недуги в сознании. Ну, а делать это надо умно, тактично и с полным пониманием, что литература область специфическая». Он часто повторял: «Писатели — народ штучный».

Он воспевал Сибирь и, конечно, сибиряков, которых Твардовский характеризовал как «народ сборный, но отборный». Его постоянно тянуло в родные сибирские края. «... Странное и труднообъяснимое это чувство привязанности к родной земле,— писал он мне в 1977 году.— Ведь прошли годы и десятилетия с тех пор, как я уехал, но ничего не ослабляет трепетного интереса к тому, что там происходит... Вижу, как шагнула Томская область вперед, сколько ценных начинаний подняли... И желаю новых успехов, фантазий и реализма в подходах к жизни, к людям». Оттого и постоянно он бывал в родных краях, в Томске. Живо интересовался делами и заботами сибиряков. Особый интерес проявлял к созданию Западно-Сибирского нефтегазохимического комплекса планетарного масштаба, который, кстати, сейчас и держит на плаву Россию.

Кабинетным человеком он не был. Его тянуло к людям. Вместе мы бывали у ученых и нефтяников, крестьян и строителей нефтехимического комбината. Очень часто он выступал прямо на строительных площадках. Видимо, эта привычка у него сохранилась со времен его комсомольской молодости.

Одной из центральных тем творчества Георгия Маркова была борьба за право народа владеть землей и природными богатствами. Эта тема и сегодня весьма актуальна, когда ничтожное меньшинство, захватив природные ресурсы, жирует, а большинство народа нищает. «Доколе бесталанные люди — всякого рода мерзавцы и самозванцы, — высказывает свою позицию Марков устами Матвея Строгова, — будут продолжать топтать мой народ, изгаляться над его великой и прекрасной душой, взнуздывать его в пору благородных порывов, глушить его высокие стремления». Увы, сколько же развелось нынче гнусных политических пошляков — «мерзавцев и самозванцев», глушащих и взнуздывающих! Но сегодня я очень часто вспоминаю рассуждения большевика Ивана Акимова из романа «Сибирь» о гиблых местах России. «У нас, как ни послушаешь, все говорят: «Гиблые места». Гиблых мест нет на земле. Есть гиблые условия существования людей». И с горечью осознаю, что мысль эта сейчас никому не приходит в голову.

В своих произведениях Марков постоянно показывает, как несказанно богата Сибирь. А с какой любовью он пишет о кедровых лесах Сибири — нет практически ни одного его произведения, где не фигурировали бы кедровые урманы! — и дает наказ будущим поколениям «... по меньшей мере утроить площадь кедровых лесов Сибири». Помню, в 1960–1970-е годы, будучи первым секретарем Томского обкома КПСС, вместе с активом мы всерьез занимались сбережением сибирского кедра. Лесозаготовители видели в нем только древесину. Мы же считали кедр, прежде всего ценным плодовым деревом. Пришлось направить соответствующую записку в ЦК КПСС, Л. И. Брежневу, побывать у него на приеме. Ознакомившись с запиской, Леонид Ильич наложил следующую резолюцию. «Безобразие. Виновных изловить, наказать. Принять меры». В то время исполнение указаний руководства строго контролирова-

лось. В данном случае виновники были наказаны, а самое главное — приняты два постановления Совета Министров СССР и РСФСР о сохранении и утилизации лесных ресурсов кедра, расширении его площадей. Вот тогда и стали формироваться кедровые хозяйства. А теперь! Теперь кедр снова рубят нещадно, без оглядки на будущее.

Весьма символично, что его смерть совпала со смертью Советского Союза, служению которому он отдал всю свою жизнь. Но о грядущем веке, о новых поколениях, уверен, он тогда думал с надеждой.

Сибирский дух, Сибирью пахнет

Юрий Грибов

Года за два до войны в литературных и читательских кругах заговорили о новом романе «Строговы». Многим казалось, что Георгий Марков, автор увесистого тома, никому пока не известный писатель, наверняка человек пожилой и подготовленный, через край хлебнувший жизни: так достоверно и выпукло было схвачено время, обрисованы образы, детали быта его героев. А между тем автору шел тогда всего двадцать шестой год, а выглядел он еще моложе.

Рукопись романа Марков привез в Москву из Сибири. Поезд шел долго, и он спал на верхней полке переполненного вагона, положив свое сочинение, завернутое в пиджачок, под голову, чтобы понадежнее было. И с вокзала пошел не в какое-то тихое издательство, а сразу в Гослитиздат. Маркову повезло, рукопись попала к Исааку Эммануиловичу Бабелю. Он прочитал «Строговых» и захотел познакомиться с автором, зазвал Маркова к себе домой, дав роману хорошую оценку. Вот так начал свой путь в литературе молодой сибирский прозаик.

Обобщая творчество Маркова, можно сказать с уверенностью, что он всю жизнь разрабатывал одну тему — тему Сибири, жизни ее народа на крутых, переломных рубежах. По таким объемным и многоплановым романам, как «Строговы», «Сибирь», «Соль земли», «Отец и сын», «Грядущему веку», можно проследить историю Томского Васюганья, всей Западной и Центральной Сибири. Эти книги густо населены работающим таежным людом, крестьянами,

колоритными мастеровитыми фигурами, которых Бог ни умом не обидел, ни силенкой. Почти все эти романы экранизированы, и литературные его герои как бы ожили, запомнились еще крепче. Поэт Виктор Боков, игравший в «Строговых» деда Федота, рассказывал мне:

— В артисты меня сам Георгий Мокеевич определил. Ты, говорит, балалайкой владеешь, бороду тебе приклеим, и будешь вылитый Федот, побывавший под Цусимой на японской войне. Я еще у него во «Второй весне» кузнеца играл. У Маркова все так колоритно, Сибирью от всего пахнет...

Вся родня у Георгия Маркова — потомственные охотники. Есть в Томской области село Ново-Кусково, окруженное чистыми реками и таежными далями. Вот здесь он и родился, девятилетним уже ходил с отцом на промысел. По несколько недель жили они в избушке, бродили по чащобам и буреломам, пили чай у костра, часто и ночевали под открытым звездным небом на пахучем хвойном лапнике. Может, эта неповторимая природа, общение с бывалыми охотниками и заронило в душу мальчика поэзию, любовь к народному меткому слову, к литературе. А может, дар к сочинительству от отца пошел, он ведь был большим книгочеем...

Георгий Мокеевич Марков — сын своего времени. Он прошел путь от сельского комсомольца, студента Томского университета и редактора молодежной газеты до первого секретаря правления Союза писателей СССР. Участвовал в Великой Отечественной, был союзным депутатом, членом ЦК, возглавлял разные комитеты и комиссии. Получил самые высокие звания и награды.

В разгар «очумелой» перестройки, когда начали топтать ногами историю, культуру, армию, крепко досталось и Маркову. Критики и литераторы, которые вчера только его хвалили, теперь старались побольнее укусь своего бывшего «шефа». Но к Георгию Мокеевичу никакая хула

не приставала. Порядочный и честный, он лишь тяжело вздыхал и чуть ниже опускал голову. Он был в первую очередь писателем, а потом уже чиновником.

Целых шесть лет мне довелось послужить в подчинении у Георгия Мокеевича: я, как секретарь правления, отвечал за издательские дела, и чаще, пожалуй, чем к другим, Марков заходил ко мне. Спрашивал, нет ли обид от писателей из союзных республик. Обиды, конечно, были, всех быстро издать было невозможно. Но самое талантливое и свежее проходило без задержек, на русский язык переводились сотни книг. Больше двадцати лет руководил Марков Союзом писателей. Он был поистине собирателем литературных сил. Тогда круглый год были широко открыты двери многих домов творчества, где писатели в хороших условиях могли спокойно работать.

Меня всегда поражало, как много успевал прочесть Георгий Мокеевич. Он был в курсе дел не только столичных толстых журналов, но и периферийных. Не меньше двух раз в году, а иногда и чаще проводились на местах дни литературы, собирая в области, республике или крае почти всю творческую интеллигенцию. Это были настоящие праздники ума и дружбы.

После писательского съезда 1986 года, Марков стал уже не первым секретарем, а председателем правления. Эта должность была в свое время введена для больного Константина Федина. Георгий Мокеевич тоже уже прихварывал. Мы подумали, что теперь и он, как Федин, будет редко заглядывать в союз. Но Георгий Мокеевич, по-прежнему был на работе, больше других помогал молодежи, выступал, ездил по стране, вел заседания. Он и умер с карандашом в руке, на писательском своем посту, как умирают в бою солдаты...

Мой самый лучший в мире дед

Марина Маркова

Было время, когда в нашей тогда многочисленной семье я была самой младшей. Мы жили в Лаврушенском переулке, в писательском доме напротив Третьяковки, на пятом этаже, в подъезде, выходившем на художественную школу. Моих молодых родителей, сестру мамы и меня все называли по именам. И даже моя прабабушка Анна Леонидовна проходила исключительно под домашним прозвищем Буба. А вот дедушка и бабушка всегда были только папой и мамой. Следуя заведенному порядку, и я, едва начав говорить, называла их так же. Точнее, папой Готей и мамой Агой. И так было всегда.

Воспоминания о Лаврушенском пунктирны: сырники со сгущенкой в семье Первенцевых... зимние прогулки с нянями... сломанная рука... темная квартира Веры Инбер, вызывавшая у меня ужас... многочисленные родственники из Сибири... уроки пения под аккомпанемент бабушкиного пианино.

Мама Ага неплохо играла на пианино. Ей и пришлось в голову обучать меня «вокалу». Обучение взяла на себя. На первом уроке я старательно орала, прижав руки к груди, заглушая бабушкин аккомпанемент. Чем громче, тем лучше, считала я. На втором уроке тоже. И как ни старалась мама Ага направить меня в нужное русло вокального искусства, все было напрасно. Она была упорна. Я тоже. Это безобразие прекратил дед, традиционно спокойно, — по пальцам могу пересчитать те моменты, когда он не скрывал раздражения, — но твердо поставивший в этой исто-

рии точку. Пора бы закончить мучить ребенка да... и всех остальных тоже, сказал он. Словом, музыкальное образование девочки из приличной семьи не состоялось. Видимо, крестьянские гены деда оказались сильнее дворянских бабушки. Много позднее, когда дед возглавлял государственную комиссию по Ленинским и Государственным премиям, я стала его постоянным спутником в «культурных походах» в столичные театры, где шли пьесы, оперы и балеты, номинированные на эти высшие в СССР награды. Было немало представлений, где я искренне зевала, а порой и засыпала, но было немало и таких, которые и сейчас вспоминаю с восторгом. Мне казалось, что дед частенько был со мной солидарен в эмоциональных оценках.

Каждое утро меня отвозили в детский сад на метро «Аэропорт». Но в выходные, оставаясь дома, я тихо пробиралась до закрытой двери дедушкиного кабинета, держа в охапку кукол и игрушки. Закрытые двери — то же самое, что сердитый шепот в спину: «Не мешай дедушке работать!» Но я все равно открывала дверь, заходила в кабинет и всегда видела одно и то же: чуть наклонясь, папа Готя сидит за столом над стопкой бумаги и что-то пишет.

Я устраивалась в кресле, — тогда оно казалось мне необъятным, а сегодня, окидывая взглядом, язык не поворачивается креслом назвать — просто большой стул с подлокотниками! — и занималась своими делами: что-то щебетала куклам, ругала их, одевала-переодевала. А он все писал, временами останавливаясь, — мне казалось, что это и есть «перевести дух» — смотрел сквозь меня на окно, и снова склонялся над столом. Словом, каждый из нас исправно занимался своим делом, бесконечно важным для каждого. Если в кабинет заходила няня или мама, и выпроживали меня, он махал ладонью: «Голубчик мне несколько не мешает!» Иногда меня оставляли. Иногда уводили.

Еще я любила сидеть на широком подоконнике его кабинета и смотреть в окно, разглядывая улицу. Но рано или

поздно опять кто-то приходил в кабинет и снимал меня с подоконника. До сих пор помню горечь обиды, вкус слез и его скороговорку: «Голубчик мне не мешает!»

* * *

Его писательскую жизнь я воспринимала косвенно. Она мне была, скажем, так же неинтересна, как и то, чем занимались родители моих друзей и приятелей: Тины Катаевой, Ольги Кассиль, Бори Агапова, Тани Леоновой, Алима Кулиева, Иры Тельпуговой, Васи Харитоновой. Взрослые были заняты своими делами и создавали нам большей частью помехи своим занудным распорядком дня, обязательными завтраками-обедами-ужинами, носовыми платочками, наставлениями и предупреждениями. Впрочем, я помню одно лето в начале 1970-х, когда переделкинские «классики» выступили в ином амплуа. Вместе с нами они вдруг кинулись играть в «казаки-разбойники». Среди них был и папа Готя. Я отлично помню его стоящим на одном колене и вычерчивающим мелом на асфальте стрелку-указатель. Наша домработница Манжела бурчала что-то о «взрослых людях, потерявших всякий разум». Помню, вечером я отчитывала его за отсутствие ловкости и сноровки, а он в запале оправдывался и отмахивался. Таким его гарантированно никогда не видели ни в ЦК КПСС, ни в Союзе писателей. А я видела!

По-моему, дед немного расстраивался и называл меня категоричной экстремисткой, когда я утверждала, что самый лучший его роман «Строговы». Но следуя его же правилу аргументировать свои утверждения или требования, я старательно выстраивала доказательства. Умение расставить плюсы и минусы в решении какой-то задачи и самой себе доказать необходимость того или иного слова или поступка не раз сослужило мне хорошую службу, помогло отказаться или же упрямо добиваться чего-то. Этой логической схемой, которую он однажды предложил мне,

я пользуюсь по сей день: в одном ряду стоят плюсы в пользу твоего решения, в другом — минусы. Причем каждый из них должен подкрепляться аргументами. «Ты должна доказать мне, почему это тебе нужно», — сказал он, когда я однажды попросила его о чем-то. Когда я не смогла обосновать просьбу, он развел руками: «Голубчик, это не жизненная необходимость, а простая прихоть! Не иди на поводу у прихотей». И потом всякий раз, обращаясь к нему с просьбой или за советом, я руководствовалась этой схемой. Насколько я помню, мои доводы его почти всегда устраивали. Он разводил руками: «А вот тут, голубчик, моя карта бита!»

Однако была и у него «запретная зона». И потому я никогда, например, не обращалась к нему с просьбами помочь поступить в университет, устроиться на работу или еще о чем-то, где его имя могло стать гарантированной протекцией. Он считал, что в жизни есть ситуации, где ты можешь рассчитывать только на себя. «Пойми, не могу я снять трубку и просить за тебя. Ты должна сама... А не поступишь, — он разводил руками, — будешь лифтершей работать. Любить тебя я все равно не перестану». Его брезгливость к «блату» и сегодня отзывается в жизни многих из нас неразрешимыми проблемами и сложностями. Я бы на его месте поступила иначе. Но тут же слышу его голос: «Что значит на моем месте?! Будь на своем месте. И поступай так, как считаешь верным. Но за свои поступки будешь отвечать только ты сама, и никто другой».

... Крестьянский сын, а картошку не любил, всякий раз говоря, что «... всю свою картошку съел на полях у Прибытковых». Это была прямая отсылка к деревенскому детству, когда он батрачил у своих богатых родственников. Опять же выходец из деревни, а был совершенно безруким в домашнем хозяйстве. Например, катастрофой вселенско-

го масштаба оборачивалась перегоревшая лампочка. Он всплескивал руками и бежал к бабушке: «Ганя, света нет! Надо вызывать монтера!» Бабушка молча подвигала стол, ставила на него стул — роста она была невысокого, — забиралась на стул, выкручивала лампочку и меняла на новую. При этом, папа Готя, всегда степенный и невозмутимый, бегал вокруг стола и нервно покрикивал: «Ой, будь аккуратна! Ой, током может ударить!» Бабушка всегда комментировала его суету односложно: «Совсем одичал»...

У меня и сейчас нет ответа на вопрос, как столь разные по воспитанию, характеру и интересам люди прожили всю жизнь вместе? Причем не просто прожили, а прожили, что называется, душа в душу. Бабушка — из весьма благородной и просвещенной семьи. Дочь белого офицера и высококородной дворянки, — та самая, кого мы Бубой величали, и с которой я играла в «дурака» — по этикету дворянского собрания непременно приглашаемая на балы высшего иркутского света по случаю приезда в город великого князя или наследника. Кстати, именно происхождение стало причиной исключения мамы Аги из Ленинградского университета. Она никогда не состояла ни в комсомоле, ни в партии. Была равнодушна к коммунистическим идеям и классовой борьбе, к постановлениям Политбюро и интригам в Союзе писателей и абсолютно игнорировала светскую жизнь советского бомонда. Не сплетничала, не интриговала, шубами и бриллиантами не интересовалась. Однажды приглашенная на правительственный прием в Кремль, больше никогда туда не ходила. Дед присутствовал там всегда один. За всю жизнь она ни разу не только не повысила голос, но даже не изменила сдержанной интонации. И в голосе ее проступала ощутимая горечь лишь тогда, когда сожалела, что так и не стала египтологом... И папа Готя с диаметрально иной биографией! Сын крестьянки и охотника. Исходил с отцом тайгу вдоль и поперек. Комсомольский активист в юнштурмовке и редактор сибирской молодежи. Был исключен из

партии, что, кстати, никогда не было указано в его официальных биографиях. Узнал, что предавать могут только бывшие друзья. Искал правду, пытаюсь восстановиться, но в итоге от сталинских сыскарей и Следственной комиссии ушел на таежную займку отца, где скрывался и его брат Павел, правда, не от НКВД, а от колчаковцев. И ведь до конца жизни продолжал верить идеям и призывам этой партии! Стал идеологическим функционером, свой писательский дар посвятив той же партии, но ни разу, повторю, ни разу не усомнившийся в правильности этого выбора. Страна и партия были для него, увы, неразделимы. Возглавив Союз писателей СССР, стал не только его идеологом и стратегом, но и завхозом, и «снабженцем». И создал писательскую империю с многомиллионным бюджетом, издательствами, поликлиниками, больницами, домами творчества. Наверняка еще что-то можно было бы поставить в этот ряд. А в итоге... Впрочем, не об этом речь.

Так вот, как же два таких разных в пристрастиях и вкусах человека могли быть и любящими супругами, и ближайшими друзьями? Всякий раз, возвращаясь с очередного совещания или встречи в верхах, дед раздевался, мыл руки и прямиком отправлялся в комнату бабушки, где буквально докладывал слово в слово о том, что там происходило, и ждал ее комментарии. Я догадываюсь, что она не всегда говорила лицепрятные вещи, но знаю точно, что всегда была честна в своих оценках и рассуждениях. И еще знаю точно, что для него эти домашние «доклады» были очень важны. Мама Ага была его первым слушателем и главным советчиком и в делах, и в творчестве.

У меня свое отношение к тому выбору, который он сделал, став литературным чиновником. Еще больше я укрепилась в своей оценке после того как с дедом приключился инфаркт на трибуне съезда писателей, и бывшие «сорат-

ники» списали его со счетов, полагая, что в Союз он не вернется. Тогда я и поняла цену многим с заискивающими улыбками, поздравительными телеграммами и протянутыми в полупоклонах за рукопожатием руками. Улыбки их трансформировались в усмешки, вместо телеграмм и телефонных звонков — молчание, вместо протянутых рук — кулак или кукиш. Но я знаю одно, что выбор этот сделал он сам, руководствуясь принципом комсомольской юности: если партия направляет меня туда, значит, я должен быть там. А рассуждать, был ли этот выбор правильным, и стоило ли природный дар менять на казенное кресло, позволительно только ему самому. В последние годы он об этом много думал. Я видела это.

Последние дни я провела с ним рядом. Сначала в больнице, потом уже дома. Он высох, стал беспомощен. Я понимала, что лучше ему не будет. Но самым ужасным для меня была именно его беспомощность. Помогал всегда он мне, а тут мы поменялись местами.

... На кладбище я стояла вдали от гроба. Я не узнавала его. Это был не он, а кто-то чужой, кого я не знала. И думала я тогда вовсе не о нем, а о себе: «Как же теперь я буду без тебя, мой самый лучший в мире дед?»

До сих пор простить ему этого не могу.

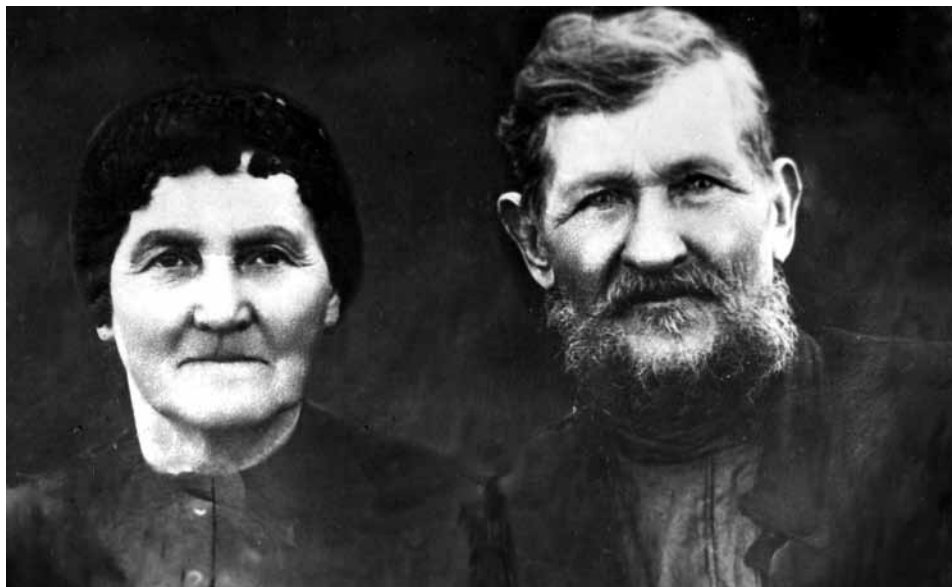


*А. Н. Кузнецов - тесть
Георгия Маркова. Тот
самый «пепеляевский
офицер», «белогвардеец»,
за связь с которым
Марков был исключен из
партии*



*Анна Леонидовна Бутакова - мама
Агнии Кузнецовой, так же как
и А.Н. Кузнецов фигурировала в решении
об исключении Г. Маркова из партии.*

*Мокей Фролович
и Евдокия Васильевна
Марковы - родители
Георгия Маркова*



*Ольга Маркова (Ляпик)
с младшей сестрой Катей*





Георгий Марков (1944 г.)



Георгий Марков (1956 г.)



Сергей Михалков и Георгий Марков (1975 г.)

Георгий Марков с братом Иваном возле таежной заимки, где позднее он скрывался от НКВД (1931 г.)



Георгий Марков с друзьями (1945 г.)



*Георгий Марков с дочерью
Ольгой (1968 г.)*



*Агния Кузнецова, жена Георгия
Маркова (1952 г.)*

Содержание

Не поросло быльем	5
Старый тракт.....	111
Писать куда приятней, чем пристраивать	205
Вспоминаем.....	235

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Георгий Марков

ВОЛЧЬИ

НОРЫ